
18+

Данил Ланин

Цыгане из Парижа

https://litres.ru/74603933
SelfPub; 2026

Аннотация

Роман-сага о Николя — цыганском мальчике, прошедшем Вторую мировую войну. Несмотря на тяготы, он учится играть на скрипке у бабушки Зары и мечтает стать музыкантом. После войны Николя поступает в консерваторию, где сталкивается с предрассудками, но находит наставника — пианиста Жерара. Он выбирает путь учителя музыки, работает с детьми, вдохновляет их и учит не только нотам, но и доброте. Рядом с ним верные друзья (Луи, Пьер, Марк, Марио), любимая жена Элоиза и дочки-двойняшки. Николя выступает в театре и на радио, но главное для него — преподавание. История о дружбе, любви, потерях и силе музыки. Финал — тихая смерть во сне и светлая память в сердцах близких. Для любителей семейных саг и историй о преодолении.

Данил Ланин
Цыгане из Парижа

Глава 1. Детство

Николя.

Колокол старой церкви звонил медленно и протяжно, словно сам оплакивал человека, которого сегодня провожали в последний путь. Его глухой звук разносился далеко по округе, растворяясь среди высоких деревьев и влажного осеннего воздуха.

Церковь стояла окружённая широкой, аккуратно выстреженной зелёной поляной. Трава была ещё яркой, несмотря на приближающиеся октябрьские холода, а на ветвях старых деревьев едва заметно дрожали пожелтевшие листья. Ветер осторожно касался их, заставляя тихо шелестеть, будто сама природа перешёптывалась между собой.

Каменное здание церкви выглядело древним. На стенах виднелись следы времени: потемневшие трещины, выцветшие узоры и местами осыпавшаяся штукатурка. Узкие витражные окна отражали серое небо, а тяжёлая дубовая дверь была приоткрыта, выпуская наружу слабый запах ладана и

воска.

Людей собралось больше, чем могла вместить в себя церковь, но каждый из присутствующих стоял с таким выражением лица, будто потерял кого-то по-настоящему близкого. Кто-то держал в руках цветы, кто-то молча смотрел в землю, а некоторые тихо переговаривались между собой.

В центре двора, рядом со свежевырытой могилой, стоял тёмный деревянный гроб. На крышке лежали белые лилии.

Николя.

Человек, о котором многие слышали, но которого, как оказалось, не все знали лично.

Неподалёку от остальных, под раскидистым дубом, стоял уже пожилой мужчина, аккуратно зачесанные назад волосы, скрывающие лысину, бархатное пальто, немного полные и обвисшие щеки, глаза были словно стеклянные и смотрели куда-то вдаль, будто видели не церковь и собравшихся людей, а воспоминания далёких

Одиночество и раздумья прервал голос молодого человека.

— Странное чувство, — тихо произнёс он. — Я ведь никогда не знал Николя лично, но его утрата оставляет несгладимый след.

Старик медленно повернул голову в его сторону.

— Но почему тогда вы пришли? — спросил он спокойным голосом.

Мужчина слегка улыбнулся, хотя в его улыбке чувствовалась грусть.

— Из-за жены. Она училась в его музыкальной школе, когда была ребёнком. Часто рассказывала о нём… Говорила, что Николя был не просто учителем музыки. Для многих детей он становился человеком, который действительно их понимал, он разделял все радостные и грустные моменты, учил не только музыке, но и давал наставления жизни.

Старик внимательно слушал, не перебивая.

— Знаете, — продолжил мужчина, — она до сих пор хранит старое письмо, которое Николя вручил всем выпускникам его школы. Для каждого ученика он писал отдельные строки и пожелания, будто вложил часть души в них. Моя жена каждый раз перечитывает их и плачет.

Ветер усилился, качнув ветви деревьев.

— Я много слышал о Николя, — сказал мужчина после короткой паузы. — Но никогда не знал, каким он был на самом деле.

Он взглянул на старика.

— А вы, похоже, были знакомы с ним очень давно.

Старик медленно кивнул.

— Да. Очень давно.

Мужчина помолчал несколько секунд, затем осторожно спросил:

— Расскажите мне о нём.

Старик опустил взгляд на землю.

Колокол снова ударил где-то над церковью.

Семья.

Франция встретила войну не громом фанфар и речами политиков, а глухим, вязким страхом, который медленно расползался по улицам, проникал в дома и оседал в сердцах людей тяжёлой сыростью. Осень принесла не только холодные дожди, но и бесконечные колонны солдат, запах мазута, гарь с заводских труб и тревожный звон колоколов, от которого дети вздрагивали даже во сне.

Города серели на глазах. Витрины магазинов пустели, окна по вечерам занавешивали плотной тканью, чтобы ни один луч света не выдал дом во время воздушной тревоги. Люди перестали говорить громко. Даже смех стал редким и осторожным, будто за него могли наказать.

По утрам улицы наполнялись длинными очередями за хлебом. Женщины стояли часами, кутаясь в старые пальто, прижимая к груди карточки на продукты. Старики молчали, опираясь на трости. Дети уже не бегали и не играли — они слишком рано научились понимать усталые взгляды взрослых.

На окраине одного из промышленных городов, среди копоти и густого дыма, стоял военный завод. Огромное бетонное чудовище с чёрными окнами и ржавыми воротами. Днём и ночью внутри него грохотали станки, визжало железо, лязгали цепи и катились тяжёлые ящики со снарядами. Воздух

там был пропитан угольной пылью, потом и едким запахом масла.

Люди говорили, что завод никогда не спит. Даже ночью из труб поднимался густой дым, похожий на чёрные змеиные кольца, уходящие в низкое свинцовое небо.

Здесь работала вся семья Николя.

Они были цыганами, и потому к ним относились с холодной настороженностью. Одни сторонились их молча, другие не скрывали презрения. Но война не спрашивала, кто ты и откуда пришёл. Она одинаково ломала всех.

Николя было всего десять лет.

Он был маленьким для своего возраста, худым, с тёмными глазами, в которых застыло слишком взрослое выражение. Его руки всегда были покрыты царапинами и серой пылью, а старая куртка висела на плечах, словно была снята с другого ребёнка.

Каждое утро он появлялся во дворе завода ещё затемно. Морозный воздух обжигал лёгкие, а тяжелые железные колёса тележки скрипели по мокрому камню. В эту тележку Николя складывал строительный мусор: куски кирпича, обломок-

ки досок, ржавые металлические детали и угольный шлак. Тележка была слишком тяжёлой для ребёнка.

Иногда он тянул её из последних сил, наваливаясь всем телом, и тогда тонкие руки дрожали от напряжения. Но останавливаться было нельзя. Надсмотрщики не любили медлительных.

— Шевелись, мальчишка! — кричал один из рабочих. — Или хочешь остаться без ужина?

Николя молча опускал голову и продолжал тянуть тележку дальше.

Иногда ему помогал его единственный друг — мальчик по имени Марио. Он был старше Николя всего на год, такой же худой и оборванный, но его круглые щёки странно выделялись на измождённом лице, будто тело ещё помнило лучшие времена. У Марио были светло-карие глаза и вечно растрёпанные волосы, пахнущие дымом и сыростью.

Он часто улыбался, хотя поводов для радости почти не оставалось.

— Давай вместе, — говорил Марио, хватаясь за ручку тележки. — А то опять останешься без ужина!

— Я и сам могу, не стоит тебе оставаться самому без еды, — упрямо отвечал Николя.

— Надзиратели ничего не скажут, война не забрала в них всю человечность и понимание

Тогда оба мальчика, тяжело дыша, тащили тележку через заводской двор, среди луж мазута и мокрого пепла. Они любили фантазировать и обсуждать, что будет, когда закончится война.

Над ними возвышались серые корпуса цехов. Из открытых окон вырывался оглушительный металлический грохот. Иногда земля под ногами дрожала от работы станков, и Николя казалось, будто сам завод — живое чудовище, пожирающее людей одного за другим.

Его отец работал упаковщиком снарядов.

С рождения одна его нога была короче другой, поэтому мужчина сильно хромал. Каждый шаг давался ему тяжело. К вечеру боль становилась такой сильной, что лицо серело, а губы начинали дрожать. Но он всё равно приходил на смену.

Высокий, сутулый, с густой чёрной щетиной и усталы-

ми глазами, он молча переносил тяжёлые ящики, обматывал снаряды плотной бумагой и укладывал их в деревянные контейнеры.

Рабочие нередко смеялись над его походкой.

— Эй, хромой, не урони королевский подарок для немцев! — однажды выкрикнул кто-то из цеха.

Несколько человек грубо рассмеялись. Отец Николя ничего не ответил. Только крепче сжал зубы и продолжил работу.

По вечерам он почти не чувствовал спины и рук. Когда семья возвращалась домой, мужчина долго сидел на старом стуле у окна и молча растирал опухшее колено.

Мать Николя работала на заводской кухне.

Она вставала ещё до рассвета. Пока город спал под тяжёлым небом и редким воем сирен, женщина уже шла через тёмные улицы к заводу, закутавшись в старый шерстяной платок. На кухне всегда стоял густой пар. Огромные котлы кипели с раннего утра до ночи. В воздухе смешивались запахи дешёвого супа, горелого лука и сырого картофеля. Её руки постоянно были красными от горячей воды и ожогов.

Иногда кожа трескалась до крови, но времени на отдых не оставалось.

Она готовила пищу для рабочих — жидкую похлёбку, в которой редко попадались куски мяса, и чёрствый хлеб. Домой мать возвращалась поздно ночью, усталая настолько, что порой засыпала прямо за столом.

Семья жила в тесной сырой квартире неподалёку от завода. Потолок протекал во время дождя, стены покрывала плесень, а в углах постоянно пахло сыростью и дымом. Маленькая железная печка почти не грела.

По ночам Николя долго не мог уснуть. Он слышал, как за стеной кашляют соседи, как где-то далеко воют сирены и грохочут грузовики. Иногда в небе раздавался тяжёлый гул самолётов, и тогда мать резко просыпалась.

— Только бы не сюда… — шептала она, прижимая к себе сына.

Николя молчал. Он уже понимал: война была не где-то далеко. Она жила рядом. В сером дыме завода, в пустых тарелках, в усталых глазах взрослых и в детских руках, которые слишком рано привыкли к тяжёлой работе.

В семье Николя жила и его бабушка по маминой линии.

Бабушка была невысокого роста — немного полноватая, крепкая. Её тёмное, типично цыганское лицо с высокими скулами и глубокими морщинами поначалу могло показаться суровым, но стоило ей улыбнуться, как в глазах вспыхивало столько тепла и доброты, что рядом с ней становилось спокойно даже в самые тяжёлые дни. Её чёрные, давно тронутые сединой волосы она всегда убирала под выцветший платок, а тонкие пальцы, пахнущие мылом и горячей водой, никогда не знали покоя.

Во время войны бабушка работала в прачечной. С раннего утра и до поздней ночи она стояла у огромных чанов с кипящей водой, стирая чужую одежду, шинели и окровавленные бинты. От бесконечной влаги и едких примесей для стирки её кожа стала сморщенной и грубой, словно старая бумага. Руки постоянно болели, пальцы покрывались трещинами, но она никогда не жаловалась. Даже когда суставы ломило от холода, а спина ныла так, что по вечерам ей было трудно разогнуться, бабушка лишь тихо вздыхала и продолжала работать.

При внуке она всегда старалась держаться прямо и улыбаться. Для него она оставалась сильной, почти неуязвимой, будто никакая беда не могла сломить её. Она умела говорить простые слова так, словно в них скрывалась древняя муд-

рость целого народа.

— Запомни, Николя, — часто говорила она тихим, хрипловатым голосом, укрывая мальчика старым шерстяным одеялом, — человек жив не тем, сколько у него хлеба, а тем, сколько добра у него в сердце.

И в такие моменты её усталые глаза становились удивительно мягкими. В них отражались пережитые годы, голод, страх войны и бесконечная работа, но вместе с тем — любовь, которую она хранила для своего внука как самое дорогое сокровище.

Она никогда не показывала своей боли. Даже когда после работы её руки дрожали от изнеможения, бабушка находила силы погладить внука по голове, поправить ему воротник или тихо напеть старую цыганскую песню. Казалось, сама её душа была соткана из терпения, нежности и какой-то тихой, несгибаемой силы, которую невозможно отнять ни войной, ни бедностью, ни временем.

Вечер опускался на маленький город медленно и тяжело, словно вместе с сумерками на улицы снова сходила сама война. За окном выл холодный ветер, раскачивая ставни старого дома, а в кухне, освещённой тусклым пламенем керосиновой лампы, семья Николя собралась за ужином.

На столе стоял чугунок с жидким картофельным супом, несколько ломтиков чёрствого хлеба и маленькая миска с тушёной капустой. Еды едва хватало на всех, поэтому каждый ел молча и неторопливо, будто стараясь растянуть скромную трапезу подольше.

Мать Николя осторожно разливала суп по тарелкам. Её руки дрожали от усталости: весь день она простояла в очередях за продуктами, имея единственный выходной за долгое время. Отец сидел прямо, положив ладони на стол. Его лицо казалось каменным, а взгляд — тяжёлым и далёким. Рядом с печкой, укутанная в старый, потрепанный шерстяной платок, сидела бабушка. Её тёмные глаза внимательно наблюдали за внуком.

Николя ел медленно, время от времени поглядывая то на мать, то на отца. Наконец он не выдержал.

— Папа… а когда закончится война?

В комнате стало тихо. Только ветер за окном продолжал глухо стучать в ставни.

Отец поднял глаза от тарелки и некоторое время молчал, словно подбирая слова.

— Война заканчивается не тогда, когда люди этого хотят, — произнёс он наконец низким голосом. — Она заканчивается тогда, когда у людей уже ничего не остаётся.

Мать тяжело вздохнула и опустила взгляд.

Николя нахмурился.

— А что мы будем делать потом?

Отец пожал плечами.

— Работать. Жить дальше. Строить всё заново, если будет что строить.

Мальчик опустил ложку. Ответ не принёс ему утешения. Ему хотелось услышать что-нибудь другое — что всё скоро станет хорошо, что снова будут праздники, музыка, смех на улицах. Но отец никогда не говорил красивых слов.

Бабушка мягко коснулась руки Николя.

— Ешь, мой маленький, — тихо сказала она. — Суп остынет.

После ужина мать начала убирать со стола, отец вновь по-

грузился в свои мысли в поисках ответов на свои же вопросы, а бабушка подозвала Николя к себе поближе. В печке потрескивали остатки мебели, когда-то бывшими элементами чей-то гостиной, наполняя кухню слабым теплом.

— Ты не слушай слишком внимательно взрослых, — прошептала она с доброй улыбкой. — Война не может длиться вечно. Даже самая длинная ночь когда-нибудь заканчивается. Николя прижался к её плечу.

— Бабушка, а тебе было страшно?

Она задумалась лишь на мгновение.

— Конечно. Всем страшно. Но страх уходит, когда рядом есть песня.

Старушка поправила платок и тихо запела старую цыганскую мелодию. Её голос был хрипловатым, но удивительно тёплым и живым. Песня текла медленно, словно ночная река, рассказывая о дорогах, кострах и людях, которые продолжают идти вперёд несмотря ни на что.

Николя слушал, затаив дыхание. А потом осторожно начал подпевать.

Бабушка улыбнулась.

— Вот так… Хорошо. У тебя есть слух.

Мальчик смущённо засмеялся.

— Правда?

— Правда, — кивнула она. — Знаешь, у моей знакомой из прачечной есть старая скрипка. Она давно на ней не играет. Может быть, согласится отдать её тебе.

Глаза Николя загорелись.

— Настоящую скрипку?

— Настоящую, — ответила бабушка. — И я научу тебя играть.

— А ты умеешь?

Старушка тихо рассмеялась.

— Цыганка без песни и скрипки — всё равно что птица без неба.

Николя снова прижался к ней, слушая, как за окном воет ветер. Но теперь этот звук уже не казался таким страшным. Где-то среди темноты, холода и войны вдруг появилось что-то маленькое и тёплое — будто крохотный огонёк надежды, который нельзя было погасить. Утро во французском городке наступало медленно и тревожно. Узкие улицы еще хранили ночную сырость, а над черепичными крышами тянулся густой дым от печей. Война давно лишила людей привычки просыпаться спокойно: каждый новый день начинался с ожидания плохих новостей, тяжелых шагов солдат за окном и глухого чувства неизвестности.

3. Первая скрипка.

Зара проснулась раньше рассвета. Она осторожно поднялась со старого деревянного стула, на котором задремала ночью у потухшей печки, и поправила шерстяную шаль на плечах. В соседней комнате еще спал Николя. Мальчик тихо дышал, прижимая к груди потертый шерстяной плед, словно тот мог защитить его от холода и войны.

Зара долго смотрела на внука. В его худом лице еще оставалось что-то детское и светлое, несмотря на голод, страх и постоянный грохот далеких взрывов. Она подошла ближе и осторожно убрала темную прядь волос с его лба.

— Сегодня я обязательно вернусь пораньше, — тихо прошептала она. — И принесу тебе кое-что особенное.

Николя сонно открыл глаза.

— Скрипку? — спросил он почти шепотом, будто боялся спугнуть мечту.

Зара улыбнулась уголками губ.

— Да, мой мальчик. Если Бог позволит.

Она не сказала ему всей правды. Скрипку нельзя было просто купить. Во время войны даже хлеб доставался ценой унижения и бесконечных очередей. А музыкальный инструмент был настоящей роскошью. Но она уже приняла решение.

Бабушка вышла на улицу ранним утром и направилась к прачечной, где работала последний год. Ветер тянул по мостовой запах угля и сырости. Люди шли молча, не скрывая страх и горе.

В кармане пальто Зара крепко сжимала янтарные бусы — старую семейную реликвию. Теплые, медового цвета камни когда-то принадлежали ее матери. В солнечном свете янтарь

словно оживал, сохраняя внутри маленькие золотистые искры прошлого. Эти бусы пережили мирное детство Зары, ее свадьбу, рождение дочери и страшный день, когда война застала врасплох всю семью.

Она никогда не снимала их добровольно.

После работы Зара направилась в другой конец города, в маленький домик возле старой булочной. Там жила мадам Линда — вдова часовщика, известная среди соседей любовью к старинным вещам и музыке. Говорили, что до войны она преподавала детям игру на фортепиано.

Зара остановилась у двери и несколько секунд не решалась постучать. Затем глубоко вдохнула и подняла руку.

Дверь открылась почти сразу.

Перед ней появилась высокая женщина лет пятидесяти с аккуратно уложенными седыми волосами. На ней был темно-синий шерстяной кардиган, а в глазах — усталость человека, слишком многое пережившего.

— Зара? — удивилась Линда. — Проходи скорее. На улице холодно.

Внутри дом пах сушеными травами, старой древесиной и свечным воском. У стены стояло пианино, покрытое кружевной салфеткой, а рядом, на стуле, лежал футляр от скрипки.

Сердце Зары дрогнуло.

Линда заметила ее взгляд.

— Ты пришла из-за инструмента?

Зара медленно кивнула.

— Мой внук… Николя очень любит музыку. Когда он слышит, как играют на площади, у него будто глаза начинают светиться. Я хочу, чтобы у него осталось хоть что-то хорошее в этой жизни.

Линда подошла к футляру и осторожно открыла его. Скрипка была старой, но удивительно красивой. Темное дерево мягко блестело в свете лампы, а струны казались почти серебряными.

— Она принадлежала моему мужу, — тихо сказала Линда. — Он играл по вечерам, пока не началась война.

Зара осторожно провела пальцами по краю футляра.

— Сколько ты хочешь за нее?

Линда долго молчала, рассматривая Зару. Потом ее взгляд остановился на янтарных бусах.

— Эти бусы… — произнесла она задумчиво. — Они очень красивые.

Зара невольно коснулась рукой янтаря.

— Это память о моей матери.

— Я знаю, — мягко ответила она. — Но я всегда восхищалась ими. В янтаре будто спрятано солнце. Сейчас людям так не хватает света.

Она сделала паузу и тихо добавила:

— Я отдам тебе скрипку в обмен на них.

В комнате стало совсем тихо. Зара почувствовала, как внутри что-то болезненно сжалось. Сколько раз она держалась за эти бусы в минуты отчаяния… Они были последней ниточкой, связывавшей ее с прошлой жизнью.

Она медленно сняла украшение с шеи. Янтарные камни тихо звякнули в ее ладонях.

«Простите меня», — подумала Зара, обращаясь к тем, кого давно уже не было рядом.

Но затем перед ее глазами возник Николя — худой мальчик с большими серьезными глазами. Ребенок, который слишком рано узнал, что такое страх. Зара вдруг ясно поняла: память не живет в вещах. Память живет в любви, в поступках, в том тепле, которое человек способен подарить другому даже посреди войны.

«Если музыка научит его снова улыбаться, значит, я поступаю правильно», — подумала она.

Она протянула бусы.

— Береги их.

Линда осторожно приняла украшение, словно понимала цену этой жертвы.

— А ты береги мальчика, Зара.

Зара взяла футляр со скрипкой. Он оказался тяжелее, чем

она ожидала.

Когда она вышла на улицу, уже начинало темнеть. Ветер трепал ее платок, а в небе медленно загорались первые холодные звезды. Но впервые за долгое время Заре казалось, что она несет домой не просто музыкальный инструмент. Она несла надежду.

Дома Николя сидел у окна и тревожно всматривался в темную улицу. Услышав шаги, он вскочил и бросился к двери.

— Бабушка!

Бабушка устало улыбнулась и поставила футляр на стол.

Николя замер.

— Это… правда мне?

— Конечно, тебе, мой мальчик.

Он осторожно открыл футляр и ахнул. Его пальцы дрожали, когда он прикоснулся к гладкому дереву скрипки.

— Она настоящая… — прошептал он. — Настоящая…

В его глазах появились слезы, но он быстро отвернулся, пытаясь скрыть их.

Бабушка смотрела на внука и чувствовала, как внутри разливается тихое тепло. Ради этого взгляда стоило расстаться с любой драгоценностью мира. Николя прижал скрипку к груди так бережно, словно держал живое сердце.

А за окном продолжалась война. Холодный ветер гулял по пустым улицам, где давно разучились смеяться люди. Но в маленьком доме, освещенном слабым светом свечи, впервые за долгое время появилась музыка будущего — еще не сыгранная, но уже способная подарить надежду.

4. Детские мечты

Франция, 1942 год.

Военный завод на окраине города просыпался ещё до рассвета. Сырые стены цехов дрожали от грохота станков, воздух был наполнен запахом масла, железа и угольной пыли. Мужчины работали молча, экономя силы, женщины спешили между рядами ящиков, а над всем этим висело тяжёлое чувство войны — бесконечной, изматывающей, лишающей людей сна и надежды.

Николя, согнувшись от напряжения, толкал тяжёлую металлическую тележку по длинному проходу склада. Колёса скрипели так громко, будто жаловались на собственную судьбу. Рядом шёл Марио — худой, взъерошенный парень с живыми глазами, в которых даже теперь, среди серости и усталости, сохранялся огонь.

— Когда-нибудь я уеду отсюда, — вдруг сказал Марио, вытирая рукавом пот со лба. — Уеду далеко-далеко.

Николя усмехнулся, хотя сил на улыбку почти не осталось.

— И куда же?

Марио оживился мгновенно, словно только и ждал этого вопроса.

— Везде! — с восторгом ответил он. — Я хочу увидеть мир. Хочу побывать в Италии, Испании, Америке… Хочу ехать в поездах, плыть на кораблях, разговаривать с разными людьми. А потом писать об этом статьи, чтобы люди читали и понимали, насколько огромен наш мир.

Он говорил быстро, эмоционально размахивая руками, и на мгновение война будто исчезала. Перед глазами действи-

тельно возникали тёплые города, шумные площади и далёкие страны.

Николя посмотрел на друга и тихо произнёс:

— А я хочу стать музыкантом.

Марио широко улыбнулся.

— Правда?

— Да. Я хочу петь… и играть на скрипке. Когда слушаю музыку, мне кажется, что всё становится легче. Будто бы даже война на минуту отступает.

Марио хлопнул его по плечу.

— Тогда ты обязательно станешь музыкантом, Николя. У тебя получится.

Николя ничего не ответил. Он лишь крепче сжал ручки тележки и продолжил идти вперёд. Ему очень хотелось верить этим словам.

Каждая смена казалась бесконечной. К вечеру руки дрожали от усталости, спина горела огнём, а ноги подкашива-

лись от напряжения. Но даже после работы Николя находил в себе силы заниматься музыкой. По вечерам он закрывался в своей маленькой комнате под крышей дома, осторожно доставал старую скрипку и начинал играть. Пальцы ещё плохо слушались, некоторые ноты звучали фальшиво, но он упрямо продолжал репетировать снова и снова.

Иногда он тихо пел, стараясь не мешать соседям и родным. Музыка становилась для него спасением — единственным местом, где можно было забыть о войне, голоде и страхе.

Но однажды вечером дверь комнаты резко распахнулась.

На пороге стоял отец.

Его лицо выглядело уставшим и осунувшимся, под глазами пролегли глубокие тени. Он долго молчал, слушая скрипку, а затем тяжело произнёс:

— Опять?

Николя медленно опустил смычок.

— Я просто репетировал…

— Репетировал? — голос отца стал громче. — После все-

го, что происходит вокруг, ты тратишь время на музыку?

— Я хочу стать музыкантом, с грустью в голосе ответил Николя

Отец нервно усмехнулся и провёл рукой по лицу.

— Музыкантом… Николя, ты посмотри вокруг! Идёт война. Люди едва находят хлеб. Заводы работают день и ночь, мужчины гибнут, семьи остаются без домов, а ты думаешь о песнях!

— Музыка тоже важна…

— Важна? — резко перебил отец. — Музыка не прокормит тебя! Не защитит семью! Не спасёт от голода!

Николя вздрогнул. Отец редко повышал голос, и потому каждое слово звучало особенно тяжело.

— Я просто хочу заниматься тем, что люблю, — тихо сказал он.

— Любовь к музыке не поможет тебе выжить, — устало произнёс отец. — Сейчас нужны сильные руки, работа и дисциплина, а не мечты.

В комнате повисла тяжёлая тишина. Отец покачал головой, развернулся и вышел, громко хлопнув дверью.

Николя медленно сел на край кровати. Скрипка всё ещё лежала у него на коленях, но теперь он смотрел на неё так, будто видел впервые. В груди жгло от обиды, а к глазам подступали слёзы.

Через несколько секунд он уже не смог сдерживаться. Тихий плач наполнил комнату.

Вскоре дверь осторожно открылась, и вошла мать. Следом за ней появилась бабушка.

Мать сразу обняла сына за плечи.

— Не слушай всё слишком близко к сердцу, — мягко сказала она. — Твой отец очень устал.

Бабушка медленно подошла к Николя и погладила его по волосам.

— Война делает людей грубыми, мой мальчик, — тихо произнесла она. — Но это не значит, что они перестают любить.

Николя опустил голову.

— Он думает, что я занимаюсь глупостями…

— Нет, — возразила мать. — Он боится за тебя.

Некоторое время все молчали. За окном слышался далёкий вой сирены, а ветер тихо стучал ветками по крыше дома. Затем в коридоре послышались тяжёлые шаги. Отец остановился у двери, будто не решаясь войти, а потом всё-таки медленно переступил порог комнаты.

Николя поднял на него покрасневшие глаза. Мужчина долго молчал, после чего тяжело вздохнул.

— Прости меня, сынок.

Эти слова прозвучали тихо, но искренне.

Отец подошёл ближе и сел рядом.

— Я не должен был кричать, — сказал он. — Просто… война меняет людей. Каждый день мы живём в страхе, постоянно думаем о том, как пережить следующий месяц. Иногда злость становится сильнее нас.

Он посмотрел на скрипку в руках Николя и добавил:

— Но это не оправдание. Человек должен уметь держать себя в руках, даже в тяжёлые времена. Самоконтроль — это то, что помогает нам оставаться людьми.

Николя молча слушал.

— Я не хочу, чтобы ты отказывался от своей мечты, — продолжил отец уже спокойнее. — Просто я боюсь за твоё будущее. Очень боюсь.

Николя медленно кивнул.

Отец осторожно положил руку ему на плечо.

— Если музыка делает тебя сильнее, значит, продолжай играть.

В комнате снова стало тихо, но теперь эта тишина уже не казалась тяжёлой. За окном всё ещё бушевала война, гремели заводы и выли сирены, однако в маленькой комнате под крышей вновь появилась надежда.

5. Ночная тревога.

Ночь была густой и тревожной, словно сама тьма держала город в сжатых кулаках. В квартирах скрипели половицы, ветер стучал в окна, и каждый звук казался предвестием беды. Николя лежал в кровати, сердце билось часто и тревожно.

Вдруг тишину разорвал резкий, визгливый сигнал тревоги. Он эхом отразился от стен, заставив дрожать стекла. За ним послышался гул — тяжелый, низкий, постепенно приближающийся. Николя вскакивал с кровати:

— Мама! Папа! Самолеты!

Семья мгновенно собралась и побежала в подвал. Николя спотыкался о разбросанную мебель, с трудом удерживая равновесие, а за его спиной раздавались первые взрывы. Земля содрогалась, окна дрожали, воздух был густым от дыма и пыли. Каждый взрыв казался ударом судьбы, каждый звук — напоминанием о том, что мир, каким он его знал, исчезает.

В подвале было темно и тесно, но там было безопасно. Они обнялись, прислушиваясь к бесконечным разрывам бомб, к реву самолетов, к стуку сердца каждого из них. Ночь тянулась, растягивалась на вечность.

Когда наконец наступило утро, город выглядел как другой мир. Многие дома лежали в руинах, улицы завалены обломм-

ками, над городом поднимался сизый дым. Но дом Николя остался нетронутым, словно островок спокойствия среди хаоса.

На следующий день, вернувшись на завод, Николя сразу заметил отсутствие своего друга Марио. Он ходил между станками, пытался сосредоточиться на работе, но мысли ускользали к пустому месту рядом с ним. Весь день Николя размышлял: что могло случиться с Марио?

За скромным ужином он решился спросить отца:
— Папа, а что случилось с Марио?

Отец посмотрел на сына с тревогой и тихо сказал:
— Они… они уехали из города.

Он старался не расстраивать Николя, но сам точно не знал, что произошло.

Николя долго сидел, обдумывая услышанное. Его детское понимание мира постепенно смещалось к взрослому осознанию: возможно, Марио больше нет. В голове мелькали самые мрачные мысли. Он представлял себе пустой завод, тишину, где раньше звучал смех друга, и сердце сжималось от боли.

И всё же в этой грусти возникла искра воображения. «Мо-

жет, он не исчез… может, он стал свободным…» — думал Николя. Ему казалось, что Марио расправил крылья, поднялся в небо и теперь летит над городами и морями, сквозь облака, туда, где нет страха, где нет войны. В этой мысли была надежда, мягкая и тихая, но настоящая. Он почувствовал, как часть детского мира смягчается, а взрослая перспектива учит его верить в чудо.

И в этот момент Николя тихо напевал песню, которую сам придумал:

Марио взлетел над городом,
Тихо скользя над крышами домов.
Крылья раскрыты, свет на горизонте,
Словно мечта, что зовет его вновь.

Через облака, через моря,
Он летит, где ветер поет.
Ни забот, ни тревог уже нет,
Лишь простор и светлый полет.

Закат за окном золотит крыши,
А он мчится сквозь синь небес.
Марио — птица, и весь мир ему дружен,
Каждый рассвет встречает он весело.

Летит он туда, где мечты оживают,
Где каждый путь открывает мечту.
И сердце Николя тихо шепчет:
«Марио свободен… он с тобой и в мечту».

6. Первый концерт.

Война оставляла на людях свои неизгладимые следы. Каждый день был похож на предыдущий: ранний подъем, изнурительная работа на заводе, череда однообразных действий, постоянный шум станков и стук металла, а затем усталость, от которой казалось, невозможно было уклониться. Люди шли домой с ослабевшими плечами и тяжестью в груди. В их глазах отражалась тревога, но иногда и искорка надежды, которая, несмотря на все лишения, все же не угасала.

Николя шел по холодному коридору завода вместе с мамой. Его маленькие пальцы сжимали её руку, чувствуя одновременно тревогу и странное волнение. Они поднялись на второй этаж, где располагался кабинет начальника. Дверь открылась, и перед ними предстала просторная комната с высоким потолком, строгими, но аккуратно расставленными мебелью, и мягким светом лампы, который создавал необычное ощущение уюта.

Начальник завода сидел за массивным деревянным сто-

лом. Его лицо было изможденным, с морщинами, вырезанными годами забот и тревог. Но в глазах светилась доброта и понимание. Он улыбнулся, видя, как мама Николя слегка напряглась.

— Заходите, пожалуйста, — сказал он мягким, но уверенным голосом. — Прошу вас, присаживайтесь.

Мама Николя тихо кивнула, а мальчик слегка потянулся вверх, стараясь казаться взрослее, чем он есть.

— Я хочу поговорить с вами о маленьком, но важном событии, — продолжил начальник, скользнув взглядом по Николя. — Заводской коллектив сильно устал. Мы все устали — от работы, от постоянного напряжения, от этого времени. Чтобы поддержать дух людей, мы решили устроить небольшой концерт. Полчаса музыки и песен… чтобы хоть на мгновение забыть о заботах.

Он сделал паузу, будто выбирая слова.

— Мне сказали, что ты умеешь играть на скрипке и петь. Не мог бы ты выступить для наших рабочих?

Николя почувствовал, как сердце чуть сильнее забилось в груди. Он кивнул, едва сдерживая улыбку. Мама обняла его

за плечи, и в её глазах блеснула гордость.

Дома мальчик сразу побежал к бабушке:

— Бабушка, будем репетировать! Мне нужно подготовиться к концерту!

Бабушка засмеялась, но с трепетом в голосе сказала:

— Конечно, дорогой, давай начнем прямо сейчас.

Отец Николя присоединился к разговору за ужином:

— Я буду искренне рад посмотреть на твое выступление, сынок. Это здорово, что ты найдешь силы для музыки даже в такое трудное время.

Наступил день концерта. Николя стоял с краю, ощущая, как дрожь пронизывает всё тело. Сердце колотилось так, что казалось, его слышат все вокруг. Он слышал гул рабочих, их тихие разговоры и смех, и это одновременно пугало и завораживало. Мальчик глубоко вдохнул, чувствуя, как волнение смешивается с волнением ожидания.

Когда прозвучала его очередь, он вышел на импровизированную сцену. Скрипка в руках была теплая от прикосно-

вений, а песня, которую он написал о Марио, была готова ожить. Первые ноты дрожали, словно сам Николя сомневался, сможет ли справиться, но затем мелодия потекла ровно, свободно, и его голос наполнил зал.

Рабочие замерли, слушая мальчика. В каждом аккорде звучала искренность, в каждой строчке — маленькая история о дружбе и надежде. Когда последняя нота растаяла в воздухе, зал взорвался аплодисментами. Николя почувствовал, как внутри него взрывается радость и гордость. Сердце наполнялось теплом, глаза блестели от слез счастья, и он вдруг понял: несмотря на усталость, холод и тяготы войны, музыка может дарить свет даже в самых мрачных днях.

После выступления начальник подошел к маме Николя с двумя банками тушенки.

— Это за его выступление, — сказал он, улыбаясь. — И за воспитание, которое вы ему дали. Мальчик большой молодец: делает тяжелую работу и находит силы для музыки. Ему стоит сходить в дом культуры и попробовать записаться в оркестр.

Вечером, за ужином, мама достала эти банки и поставила перед Николя.

— Это полностью твоя заслуга, — сказала она, поглаживая его по голове. — И я думаю, тебе стоит сходить со мной в дом культуры в ближайший выходной, чтобы попробовать себя в оркестре.

Николя сиял от счастья. В сердце его снова зажглась маленькая искра надежды, которая, как он понял, может гореть даже тогда, когда мир вокруг кажется таким тяжелым и усталым.

После ужина мама Николя осталась с бабушкой на кухне. Лёгкий вечерний свет керосиновой лампы мягко освещал стол, на котором ещё стояли две банки тушенки, символ его маленькой победы. Мама опустила руки на стол и вздохнула, прежде чем заговорить.

— Мам, — начала она тихо, почти шёпотом, — я думаю, нам нужно поддержать Николя в том, чтобы он сходил в дом культуры и попробовал себя в оркестре.

— В оркестр? Ты уверена? Он ведь совсем маленький… Там чужие дети, взрослые музыканты… Может, ему будет тяжело одному…

Мама улыбнулась, хотя глаза её слегка блестели от волнения.

— Я понимаю, мам, — сказала она мягко. — Я тоже волнуюсь. Но именно поэтому я хочу, чтобы он пошёл. Но работа на заводе изнуряет его . Ему так важно почувствовать себя частью чего-то настоящего, чего-то своего. Новый коллектив, новые лица… Да, сначала будет страшно и непривычно, но он заслужил это. Он заслужил место, где его смогут услышать, оценить и поддержать.

Бабушка нахмурилась, обдумывая слова дочери:

— Но вдруг он почувствует себя одиноким. Ведь он привык к дому, к нам…

Мама осторожно взяла бабушку за руку и сжала её, словно передавая уверенность и тепло.

— Мам, послушай, — сказала она тихо, но решительно. — Иногда именно новые испытания помогают понять, на что мы способны. Он уже столько делает — трудится, помогает нам, находит время для музыки. Разве это не знак того, что он готов к новым шагам? Если мы будем его поддерживать, он не будет один. Мы будем рядом, просто не в зале, а в душе. И когда он поймёт, что способен играть вместе с другими, что музыка объединяет, он почувствует радость, которую нельзя сравнить ни с чем.

Бабушка смотрела на дочь, и в её глазах медленно появлялась уверенность. Она улыбнулась, сдерживая легкую слезу:

— Да… Ты права. Он столько пережил… И правда заслужил шанс быть услышанным. Если ты думаешь, что это будет ему лучше, значит так и надо сделать.

Мама обняла бабушку за плечи:

— Спасибо, мам. Я просто хочу, чтобы он рос счастливым, чтобы у него было место, где он сможет быть самим собой и радоваться музыке. Этот опыт поможет ему стать сильнее и увереннее.

В этот момент на кухне повисла тёплая тишина. В воздухе витала забота, любовь и надежда. Они обе понимали, что новый путь для Николя будет трудным, но нужным — и, что главное, он уже не будет один: у него есть семья, которая верит в него.

7. Цыганам здесь не место.

Николя шёл по пустынной улице, крепко прижимая к груди футляр со скрипкой, словно боялся выпустить его хотя бы на мгновение. В воздухе стоял тяжёлый запах гари, сырой

штукатурки и дыма от недавних пожаров. Где-то вдали глухо раздавались взрывы, и каждый новый раскат заставлял его невольно напрягаться.

Весенний ветер гулял между разрушенными домами, поднимая пыль и клочья старых газет. На обочинах пробивалась молодая трава, будто сама природа пыталась напомнить людям, что жизнь всё ещё продолжается, несмотря на войну.

Николя старался идти уверенно, но тревога не отпускала его ни на секунду. Вокруг тянулись полуразрушенные здания с выбитыми окнами и почерневшими стенами. Некоторые дома были повреждены настолько сильно, что можно было увидеть остатки комнат: перевёрнутые стулья, сорванные занавески, разбросанные вещи.

На улицах встречались раненные солдаты, усталые люди с опущенными взглядами, санитарные повозки. У стен домов висели агитационные плакаты — яркие, кричащие, будто совсем не замечающие окружающей разрухи. С них смотрели улыбающиеся солдаты, звучали призывы к победе, к мужеству, к верности родине.

Николя нервно оглянулся и ещё крепче сжал ручку футляра.

«Только бы никто не украл…»

Он тут же одёрнул себя.

«Нет, глупости. Кому сейчас нужна старая скрипка?..»

Мимо прошли двое военных, громко обсуждая что-то между собой. Один из них скользнул взглядом по футляру, и Николя сразу почувствовал, как внутри неприятно похолодело.

«А если всё-таки отнимут?.. Нет… Нет, нельзя об этом думать».

Он ускорил шаг.

Чем ближе становился дом культуры, тем сильнее нарастало волнение. Сердце билось так быстро, будто хотело вырваться наружу.

«А если меня не возьмут?..»

Эта мысль преследовала его с самого утра.

«Вдруг я играю недостаточно хорошо? Вдруг они скажут, что сейчас не время для музыки?»

Он попытался представить, как войдёт внутрь, как будет держать скрипку дрожащими руками, как на него посмотрят другие музыканты. От одной этой мысли становилось не по себе.

«Нет, нужно успокоиться. Просто сыграть. Только сыграть так, как умею».

Он глубоко вдохнул и поднял взгляд вперёд.

Николя остановился у входа и несколько секунд молча смотрел на двери.

Пальцы дрожали.

Но потом он медленно выпрямился, крепче прижал к себе футляр со скрипкой и сделал шаг вперёд.

Здание дома культуры выглядело угрюмо и неприветливо: крыша была пробита осколками, кое-где зияли дыры, сквозь которые виднелось низкое свинцовое небо. Но вокруг этого разрушенного строения странным образом чувствовалась энергия жизни — может быть, оттого, что здесь всё ещё звучала музыка, а люди старались забыть о войне хотя бы на несколько часов.

Николя толкнул тяжёлую дверь и шагнул внутрь. В полумраке вестибюля его встретил сторож — пожилой мужчина в потёртой гимнастёрке, с равнодушным, уставшим лицом.

— Здравствуйте, — вежливо произнёс Николя. — Я хотел бы устроиться к вам в оркестр. Вы не подскажете, с кем можно поговорить?

Сторож молча окинул его взглядом, потом, не проронив ни слова, лениво побрёл в соседний кабинет. Через минуту дверь скрипнула, и на пороге появился мужчина.

Николя сразу отметил его неестественный рост — этот человек был очень высоким, но при этом до такой степени исхудавшим, что, казалось, ветер мог сломать его пополам.

Лицо его оказалось бледным, почти землистого оттенка, всё в мелких морщинах, словно пергамент. Но самое странное впечатление производили его руки: пальцы — необычайно тонкие, длинные, похожие на высохшие ветки старого дерева.

Мужчина подошёл ближе, остановился напротив Николя и спросил резким, скрипучим голосом:

— Твой отец воюет?

— Нет, — ответил Николя, стараясь держаться спокойно. — У него разная длина ног. Он трудится на военном заводе. И я там же работал раньше.

Глаза мужчины сузились. Он медленно, с неприятной брезгливостью оглядел Николя с головы до ног, задержав взгляд на лице, на руках, на одежде.

— Цыган, — выдохнул он не вопросом, а утверждением. И тут же его голос приобрёл железную, ледяную твёрдость: — Цыганам не может быть места в оркестре. Немедленно покинь здание.

Он не кричал. Он говорил тихо, но каждое слово было тяжелее удара.

Николя открыл было рот, чтобы возразить, но мужчина уже развернулся и зашагал прочь, оставив за собой только запах презрения и сырой штукатурки. Сторож, не поднимая глаз, кивнул в сторону выхода. Николя понял, что спорить бесполезно.

Николя вышел на улицу, и дверь за ним тяжело захлопнулась.

Он сделал несколько шагов вперёд, потом остановился посреди разбитого двора, словно забыв, куда идти. Внутри всё сжалось в тугой, болезненный комок. Он не мог поверить в то, что только что произошло. Ещё минуту назад он чувствовал себя почти счастливым — шёл сюда с надеждой, с трепетом, представлял, как возьмёт в руки инструмент, как сольётся с другими музыкантами в едином дыхании. А теперь всё рухнуло.

Николя медленно опустился на покосившееся крыльцо и спрятал лицо в ладонях.

— Цыганам не может быть места в оркестре, — прошептал он чужими, грубыми словами.

Голос мужчины всё ещё звучал в ушах — скрипучий, ле-

дяной, не терпящий возражений. И этот взгляд, скользнувший по нему, как по грязному пятну на полу.

Николя почувствовал, как к горлу подступает горькая, обжигающая обида. Он не плакал — нет, он давно разучился плакать, война выжгла из него эту привычку, — но внутри всё дрожало мелкой, противной дрожью. Губы сжались в тонкую нитку, а в груди разрасталась пустота. Такая же холодная и серая, как зимнее небо над головой.

Он вдруг остро, до боли в пальцах, осознал, что сейчас его отвергли не за то, что он плохо играет. Не за то, что у него нет опыта или таланта. Его отвергли за то, кем он родился. И от этого становилось ещё тошнее.

— За что? — тихо спросил он у пустого двора. — За что?

Но двор молчал. Только где-то далеко, за линией фронта, глухо ухали орудия.

Николя поднял голову и посмотрел на дом культуры. Из щелей в досках, которыми были заколочены окна, пробивался тусклый свет. Он услышал приглушённые звуки настраивающихся инструментов — где-то внутри оркестр, наверное, уже собирался на репетицию. Тот самый оркестр, в котором ему не нашлось места.

Он встал, отряхнул брюки, глубоко вздохнул. И пошёл прочь, низко опустив голову и сунув руки в карманы потёртого пальто. Ему хотелось провалиться сквозь землю. Или хотя бы оказаться подальше от этого места, где музыка вдруг перестала быть для него спасением и стала напоминанием о том, что он здесь чужой.

Он шёл и сжимал зубы так сильно, что заныли скулы. Только бы не разреветься. Только бы никто не увидел его слабости.

Но слёзы всё равно наворачивались на глаза — горькие, обидные, бессильные. Николя вытер их рукавом и ускорил шаг, стараясь думать о чём-нибудь другом. О заводе, где гулко стучат станки. Об отце, который хромает между верстаками. О матери, которая каждое утро молится за всех, кто ушёл на фронт. О бабушке, которая готова пожертвовать собой, лишь бы он был счастлив и сыт в столь непростое время.

Только бы не возвращаться мыслями к этому проклятому дому культуры. Только бы забыть то, что сказал тот человек. Его слова о том, что тебе нельзя быть там, где ты так отчаянно хочешь быть, — они резали больнее любого осколка.

Его горести помешало то, что его подозвали к себе ране-

ные солдаты.

Николя поднял глаза и увидел нескольких человек в окровавленных бинтах. Они сидели на деревянных скамьях — молодые, уставшие, но живые. Один из них, с замотанной головой и весёлыми глазами, помахал ему рукой.

— Эй, парень! — крикнул он. — Ты с гармошкой? Или со скрипкой?

— Со скрипкой, — тихо ответил Николя, подходя ближе.

— Давай, подойди. Как тебя зовут?

Николя замялся. Ещё минуту назад он хотел только одного — чтобы его оставили в покое. Но эти люди, израненные, в пропахших порохом шинелях, смотрели на него без всякой злобы. В их глазах была усталость и какая-то детская, почти наивная надежда.

— Николя, — произнёс он неуверенно, словно проверяя, не разучился ли ещё выговаривать собственное имя.

— Красивое имя, — сказал другой солдат, с перевязанной рукой. — А сыграть нам что-нибудь можешь? Тихое. Чтобы душу отогрело.

Николя почувствовал, как внутри него что-то дрогнуло. Он не ждал такой просьбы. Он вообще уже ни от кого ничего не ждал. Но отказать этим людям было выше его сил.

— Могу, — ответил он и поднёс смычок к струнам.

Он заиграл не цыганскую мелодию, не ту, что пела бабушка. Он заиграл что-то своё — то, что родилось у него в душе только что, в эту самую минуту. Грустное, протяжное, как осенний ветер над полем боя. И вместе с тем тёплое, словно материнские руки.

Солдаты затихли. Даже те, кто переговаривался между собой, замолчали и просто слушали. Кто-то закрыл глаза. Кто-то смотрел в небо, и на глазах у него блестели слёзы.

Николя играл для них. Для тех, кто потерял товарищей. Для тех, кто завтра снова пойдёт в атаку. Он играл и чувствовал, как его собственная боль отступает, уступая место чему-то большему.

Мелодия закончилась. Несколько секунд стояла тишина.

— Чудо, — прошептал солдат с замотанной головой. — Просто чудо.

Другой, с перевязанной рукой, полез в карман шинели и достал небольшую плитку. Шоколад. Настоящий, довоенный шоколад, которого в военное время не видели даже дети генералов.

— Возьми, — сказал он, протягивая плитку Николя. — Ты заслужил.

Николя посмотрел на шоколад и почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он вспомнил, что ел такое лакомство только на Рождество, когда отец приносил с ярмарки сладкий подарок. Вкус шоколада был для него вкусом счастья, которого не было уже так долго.

Он протянул руку — и вдруг отдёрнул её.

— Нет, — сказал он твёрдо. — Не могу.

— Почему? — удивился солдат.

— Потому что я не имею права брать у тех, кто воюет за мою свободу, — ответил Николя. Он выпрямился и посмотрел солдату прямо в глаза. — Вы каждый день рискуете жизнью. А я всего лишь играю на скрипке. Спасибо вам, но я не возьму.

Раненые переглянулись. Кто-то покачал головой, кто-то одобрительно кивнул.

— Молодец, парень, — сказал солдат с перевязанной рукой, пряча шоколад обратно. — Настоящий мужчина.

Николя сделал шаг назад, собираясь попрощаться, и вдруг упёрся спиной в кого-то. Он обернулся и замер.

Перед ним стоял военный. Не раненый, не уставший до изнеможения — нет. Это был стройный и подтянутый мужчина лет тридцати, в аккуратно застёгнутой форме, с чисто выбритым лицом. Фуражка сидела на нём безупречно, сапоги блестели, хотя вокруг была грязь и копоть. Но главное — его лицо. Доброе, но серьёзное, с внимательными глазами, которые, казалось, видели человека насквозь.

Мужчина стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на Николя с интересом и одобрением.

— Я всё слышал, — сказал он негромко. И улыбнулся. — И игру твою слышал, и разговор.

Николя растерялся и не знал, что ответить.

— Позволь представиться, — продолжал военный. Он протянул руку, и Николя машинально пожал её. Рукопожатие оказалось крепким и тёплым. — Меня зовут Люсьен Бернар. Я дирижёр здешнего оркестра.

Николя почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он только что вышел из дома культуры, где ему отказали. И вот перед ним стоит сам дирижёр.

— Мне искренне понравилось, как ты играешь, — сказал Люсьен. — Это талант. Настоящий. И ещё мне понравилось, как ты мужественно отказался от десерта. Не каждый взрослый на такое способен. А ты — мальчишка — устоял.

Николя опустил глаза.

— Но я не понимаю, — продолжал дирижёр, слегка наклонив голову. — С таким даром почему ты ещё не играешь в нашем оркестре? Мы как раз ищем скрипачей.

Николя молчал. Комок снова подступил к горлу.

— Я только что оттуда вышел, — выдавил он наконец.

— Что значит «вышел»?

Николя спрятал глаза. Ему было стыдно. Не за себя — за то, что пришлось это говорить.

— Мне отказал один мужчина, — произнёс он тихо, почти шёпотом. — Высокий, исхудавший, с длинными тонкими пальцами. Он сказал… сказал, что цыганам не может быть места в оркестре. Из-за моей расы.

Люсьен Бернар нахмурился. В его глазах мелькнуло удивление, смешанное с гневом.

— Высокий, исхудавший, с длинными пальцами, — медленно повторил он. — Это Жерар. Пианист. Он и правда играет лучше многих, но… — дирижёр замолчал, подбирая слова. — Он всегда был тяжёлым человеком. Но чтобы такое…

Люсьен покачал головой и положил руку на плечо Николя.

— Послушай меня, — сказал он твёрдо, глядя парню прямо в глаза. — Жерар — не дирижёр. Он не имеет права никого принимать или увольнять. Я — дирижёр. И я с радостью возьму тебя в оркестр. Ты слышишь меня, Николя? С радостью.

Николя смотрел на него и не мог вымолвить ни слова.

Внутри всё дрожало — теперь уже не от обиды, а от неожиданной, оглушительной надежды.

— Ты только скажи, — добавил Люсьен, и в голосе его зазвучала твёрдость командира, — согласен?

Николя кивнул. Слёзы, которых он так долго сдерживал, наконец покатились по щекам. Но это были уже не горькие слёзы.

— Идём, — сказал Люсьен Бернар и жестом предложил Николя следовать за ним.

Николя послушно зашагал рядом с дирижёром, крепко прижимая к груди футляр со скрипкой. Сердце его колотилось где-то у самого горла, и он то и дело сглатывал, пытаясь успокоиться. Внутри всё трепетало — от страха, от неожиданности, от робкой, ещё не до конца осознанной надежды.

8. Первое слушание.

Они подошли к знакомому зданию дома культуры. Теперь оно выглядело иначе — не таким мрачным и враждебным. Или это сам Николя смотрел на него другими глазами?

— Подожди меня здесь, у двери, — сказал Люсьен, оста-

навливаясь на пороге. — Я сейчас вернусь.

Дирижёр скрылся внутри. Николя остался один. Он прислонился спиной к холодной стене и закрыл глаза. В ушах всё ещё звучали слова того высокого мужчины: «Цыганам не может быть места в оркестре». А следом — твёрдый, уверенный голос Люсьена: «Я с радостью возьму тебя».

Прошло несколько минут. Дверь открылась, и на пороге показались двое.

Первого Николя узнал сразу. Тот самый высокий, исхудавший мужчина с тонкими длинными пальцами — Жерар, пианист. На его бледном морщинистом лице читались гнев и откровенное презрение. Он смотрел на Николя так, словно перед ним лежала какая-то неприятная, грязная вещь, которую следовало выбросить вон.

Но рядом с ним стояла женщина, и взгляд Николя невольно приковался к ней.

Она была невысокой, с пышными, как у античной статуи, волосами, уложенными в аккуратную причёску. Глаза её — изумрудные, зелёные, как весенняя листва в лесах его детства — смотрели мягко, но в то же время изучающе. На ней был строгий, но изящный пиджак, который подчёркивал до-

стоинство её осанки. От неё пахло лавандой и ещё чем-то далёким, мирным, довоенным.

— Это он и есть? — спросила женщина, обращаясь к Люсьену.

— Да, мадам, — ответил дирижёр. — Николя. Тот самый юноша, о котором я вам рассказывал.

Женщина кивнула и жестом пригласила всех внутрь.

Они прошли длинным, плохо освещённым коридором, мимо ободранных стен и тяжёлых портьер, и наконец оказались в актовом зале. Это было просторное помещение с высоким потолком, по бокам которого висели потускневшие от времени бархатные шторы. В конце зала возвышалась сцена — деревянная, поскрипывающая, с вытертым до дыр линолеумом.

— Встань туда, — велел Люсьен, указывая в центр сцены.

Николя поднялся по трём ступенькам и замер. Сердце его бешено колотилось — казалось, ещё немного, и оно выскочит из груди. Ладони мгновенно вспотели, а в горле пересохло. Он чувствовал, как дрожат его колени, и надеялся, что этого никто не замечает.

Он стоял перед тремя судьями.

Слева сидел тот самый Жерар — пианист, который ещё недавно выгнал его вон. Его узкие губы были плотно сжаты, а глаза метали молнии. Он скрестил свои длинные, паучьи пальцы на груди и явно присутствовал здесь против своей воли.

Справа расположился Люсьен Бернар — добрый, но серьёзный, с блокнотом в руках и карандашом за ухом. Он ободряюще кивнул Николя, и от этого простого жеста на душе у мальчика стало чуть теплее.

А в центре, на самом почётном месте, сидела та самая женщина с зелёными глазами и пышными волосами.

— Позволь представиться, — сказала она приятным, грудным голосом. — Меня зовут Элоиза Дюваль. Я заведующая музыкальной частью этого дома культуры.

Николя проглотил комок в горле и молча кивнул.

— Не волнуйся так, — добавила Элоиза мягко. — Мы просто хотим тебя узнать. Расскажи нам о себе. Кто твои родители? Чем они занимаются? Где ты учился музыке?

Николя перевёл дыхание. Вопросы были простыми, но от этого они казались ему ещё более трудными. Слова застревали где-то глубоко внутри, и ему пришлось сделать усилие, чтобы выдавить их наружу.

— Моего отца зовут Клод, — начал он тихо, глядя куда-то в пол. — Он… он работает на военном заводе. Пакует снаряды в ящики. У него разная длина ног, поэтому его не взяли на фронт. А мама — Мари. Она готовит в столовой для рабочих.

Голос его слегка дрогнул, но он продолжил.

— Ещё у меня есть бабушка. Её зовут Зара. Она работает в прачечной — стирает бельё для госпиталя.

При упоминании бабушки лицо Элоизы Дюваль чуть заметно смягчилось.

— Именно бабушка научила меня играть и петь, — сказал Николя, и впервые за всё время в его голосе зазвучала гордость. — Она не знает нот, никогда не училась в школе. Но она может сыграть на чём угодно — на ложках, на гребёнке, на старой жестяной банке. А когда она поёт… — он запнулся, подыскивая слова, — когда она поёт, кажется, что даже

стены плачут от радости.

В зале повисла тишина.

Жерар фыркнул и отвернулся, но Элоиза Дюваль и Люсьен Бернар переглянулись с нескрываемым интересом.

— Значит, бабушка, — задумчиво повторила Элоиза. — Что ж, это многое объясняет. А теперь, Николя, — она чуть подала корпус вперёд, и её зелёные глаза сверкнули в полумраке зала, — сыграй нам что-нибудь. То, чему она тебя научила.

Николя поднёс скрипку к плечу. Пальцы его всё ещё дрожали, но как только смычок коснулся струн, дрожь ушла. Осталась только музыка.

Он заиграл то, чему научила его бабушка Зара. Не ту печальную мелодию, что звучала у поезда. Нет. Он заиграл старую цыганскую песню — задорную, быструю, со смелыми переходами и неожиданными паузами. В ней слышался топот копыт и звон бубенцов, запах костра и смех детей, свобода, которую не отнять никому и никогда.

Смычок летал над струнами, пальцы левой руки порхали по грифу, словно мотыльки. Николя закрыл глаза и полно-

стью отдался музыке. Он не видел судей, не видел сцены, не видел обшарпанных стен актового зала. Он слышал только мелодию — живую, горячую, упрямую.

Последний аккорд прозвучал громко и чисто. Николя опустил смычок и открыл глаза.

Тишина.

Затем Люсьен Бернар тихо, одними глазами, заулыбался и кивнул. Элоиза Дюваль чуть приподняла бровь и задумчиво постучала тонким пальцем по подлокотнику кресла.

А Жерар — высокий, исхудавший пианист с длинными пальцами — сидел неподвижно. На его бледном морщинистом лице не дрогнул ни один мускул. Но глаза… глаза его смотрели на скрипку в руках Николя с каким-то странным, почти болезненным выражением. Он был доволен — это читалось в том, как он чуть заметно прикусил губу и как его тонкие пальцы невольно шевельнулись, будто повторяя движения скрипача. Но он изо всех сил старался не показывать этого. Гордость не позволяла ему признать, что этот мальчишка, этот цыган, которого он выгнал полчаса назад, играет так, как не каждый профессиональный музыкант сыграет.

Жерар отвернулся к стене и сложил руки на груди ещё

плотнее.

Элоиза Дюваль заметила это. Она медленно повернула голову в сторону пианиста и сказала негромко, но очень отчётливо:

— Жерар, вы, кажется, хотели что-то сказать?

— Ничего я не хотел, — буркнул тот, не поворачиваясь.

— Тогда послушайте меня, — продолжала женщина, и голос её приобрёл стальные нотки. — Нельзя сразу судить о человеке, глядя на него. И тем более — на его нацию. Музыка не имеет национальности. Она либо есть в сердце, либо её нет. А у этого мальчика она есть. Вы это только что слышали так же хорошо, как и я.

Жерар молчал. Его кадык судорожно дёрнулся, но он не произнёс ни слова.

Элоиза перевела взгляд на Николя. Её зелёные глаза снова стали мягкими, почти ласковыми.

— Что ж, — сказала она, вставая с кресла. — Поздравляю, Николя. Ты принят в наш оркестр.

Николя почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он хотел что-то сказать, поблагодарить, но слова застряли в горле. Он только сжал гриф скрипки ещё крепче и часто заморгал, чтобы слёзы не потекли снова.

— Однако, — подняла палец Элоиза, и голос её стал строже, — тебя ждёт не только игра на сцене. Репетиции — это лишь половина дела. Ты будешь помогать остальным во всех бытовых делах. Сажать цветы вокруг дома культуры, потому что даже война не отменяет красоты. Делать ремонт — здесь, сама видишь, крыша течёт и краска облезает. Убирать зал, расставлять стулья, носить ноты. Всё, что потребуется.

Николя энергично закивал.

— Я всё сделаю, — выпалил он наконец. — Всё, что скажете. Я умею работать. Я на заводе два года… и цветы тоже умею. Моя мама любит цветы.

Люсьен Бернар тихо рассмеялся и захлопнул блокнот.

— Тогда договорились, — сказал он, поднимаясь. — Завтра в девять утра первая репетиция. Не опаздывай.

— Не опоздаю, — прошептал Николя.

Элоиза Дюваль подошла к нему и положила руку на плечо. От неё снова пахло лавандой — спокойно и мирно.

— Твоя бабушка может тобой гордиться, — сказала она тихо, только для него одного. — А тот, кто тебя прогнал… — она бросила короткий взгляд в сторону Жерара, который по-прежнему стоял, отвернувшись к стене, — он ещё извинится. Я прослежу.

Николя улыбнулся. В первый раз за долгие-долгие дни он улыбнулся по-настоящему — широко, открыто, до боли в щеках.

Он вытер смычок, уложил скрипку в футляр и вышел из актового зала. В коридоре его догнал Люсьен Бернар.

— Ты молодец, — сказал дирижёр негромко. — Не каждый выдерживает такое. И ты запомни: Жерар — отличный пианист, но тяжёлый человек. Не принимай его слова близко к сердцу.

— Я постараюсь, — ответил Николя.

Он вышел на крыльцо дома культуры и глубоко вдохнул холодный военный воздух. Небо по-прежнему было серым, где-то далеко всё так же ухали орудия. Но мир вокруг стал

другим.

Или это сам Николя стал другим?

Николя шёл домой радостный, не замечая вокруг ни войны, ни серого неба, ни разбитых бомбами зданий. Ноги сами несли его по знакомым улицам, но сейчас всё вокруг казалось другим. Даже запах гари и пыли не казался таким удушающим, как прежде. В груди у него пело — пело что-то светлое, почти забытое за два долгих военных года.

Однако радость эта была неспокойной. Чувства его смешались: с одной стороны, он ликовал. С ним говорили на равных, его игру оценили настоящие музыканты, его приняли в оркестр! Но с другой стороны, в душе шевелился липкий, неприятный страх. А что, если коллектив окажется таким же, как Жерар? Что, если завтра его снова унизят, только уже при всех? Что, если он не впишется, не справится, окажется лишним?

Николя тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли.

— Не думай об этом, — прошептал он сам себе. — Ты справишься. Ты должен справиться.

Он ускорил шаг, крепче прижимая к груди футляр со

скрипкой — единственное своё сокровище.

Дома его ждала тишина.

Квартира, которую они снимали на окраине городка, была маленькой, тесной, с низким потолком и вечно сквозящими окнами. Но это был их дом. Здесь пахло маминым супом, бабушкиными травами и чем-то ещё родным, уютным, невоенным.

9. Начало пути.

Николя поставил скрипку в угол, сел на табурет и принялся ждать. Время тянулось медленно, как расплавленный свинец. Он смотрел в окно на пустынную улицу, на редких прохожих, прижимающихся к стенам, и думал. Думал о том, как расскажет обо всём семье.

Наконец стукнула дверь.

Первым пришёл отец — уставший, с почерневшими от заводской копоти руками, хромающий сильнее обычного. Он молча повесил на гвоздь потрёпанное пальто и устало опустился на стул.

— Клод, ты как? — спросила бабушка, выглядывая из

кухни.

— Нормально, — ответил он коротко. — Снаряды пакуются. Война не ждёт.

Следом пришла мать — Мари. Она работала в столовой и каждый день возвращалась с опухшими ногами и болью в спине, но никогда не жаловалась.

Семья собралась за маленьким деревянным столом. На ужин была жидкая похлёбка с кусочком чёрствого хлеба — всё, что могли себе позволить.

Николя ждал. Сердце его колотилось, как бешеное. Он сделал глубокий вдох, посмотрел на отца, на мать, на бабушку — и выпалил:

— Я хочу вам кое-что сказать.

Все трое подняли головы. Мать настороженно замерла. Бабушка прищурила свои чёрные, как угли, глаза. Отец отложил ложку.

— Завтра в девять утра я уже буду трудиться в доме культуры, — произнёс Николя с гордостью, от которой у него самого зазвенело в ушах.

Тишина.

— Что? — переспросила мать, не веря своим ушам.

— Меня приняли в оркестр, — продолжил Николя, и слова потекли из него быстрее, словно он боялся, что его перебьют. — Сегодня я встретил раненых солдат у санитарного поезда. Они попросили меня сыграть. Я сыграл. А потом подошёл дирижёр. Его зовут Люсьен Бернар. Он слышал, как я играл. И он сказал, что берёт меня в оркестр. Я уже познакомился с заведующей, мадам Элоизой Дюваль. Она очень добрая. Даже Жерар — тот, который сначала меня выгнал, — он потом слушал и не мог скрыть, что ему понравилось.

Отец медленно поднялся из-за стола. Он подошёл к сыну, положил тяжёлую, пропахшую металлом руку ему на плечо и посмотрел прямо в глаза.

— Сынок, — сказал он глухо, и в голосе его вдруг задрожали слёзы, которых Николя никогда раньше не слышал. — Я искренне горжусь тобой.

Николя почувствовал, как к горлу подкатил тёплый ком. Он хотел что-то ответить, но отец продолжал.

— Ты прошёл через такое, через что не каждый взрослый пройдёт. Ты не сдался. Ты пошёл дальше. Это дорогого стоит.

Мать промокнула глаза краем фартука. Бабушка Зара молчала, но её тёмные глаза светились — так они светились только тогда, когда она слушала хорошую музыку.

Отец вздохнул, отошёл к окну и задумался.

— Но вот что, Николя, — сказал он, не оборачиваясь. — Ты скажи мне честно. Как ты теперь будешь питаться? Мы и так еле сводим концы с концами. А дом культуры — это не завод. Там платят не каждый день, а кормят и того реже.

Николя почувствовал, как страх на секунду кольнул сердце — отец смотрел на вещи трезво, по-взрослому. Но мальчик уже знал ответ.

— В доме культуры будет маленькая пайка для всех, — сказал он твёрдо. — Мне обещали. Может, не каждый день, но хотя бы раз в день. Суп или кашу. Иногда даже хлеб с маслом, если повезёт. Я не пропаду, папа.

Отец повернулся. Долго смотрел на сына — на его решительное лицо, на упрямо сжатые губы, на эти не по годам

взрослые глаза.

— Ну что ж, — сказал он наконец. — Значит, быть по сему.

Он снова подошёл к столу, сел и взял ложку.

— Но ты смотри мне там, — добавил он уже тише, с хрипотцой. — Если кто обидит — сразу говори. Я хоть и хромой, а за сына постоять смогу.

Николя улыбнулся и кивнул.

Бабушка Зара протянула через стол свою сухую, мозолистую руку и легонько сжала пальцы внука.

— Я в тебя всегда верила, — сказала она по-цыгански, так тихо, чтобы никто, кроме него, не услышал. — Ты — моя музыка. Моя гордость.

В тот вечер семья ужинала молча. Но молчание это было не тяжёлым, а спокойным, почти счастливым. Николя смотрел в окно на тёмное, усыпанное редкими звёздами небо и думал о завтрашнем дне.

Война никуда не делась. Она грохотала где-то там, за го-

ризонтом. Но здесь, в этой маленькой комнате, в этом хрупком, уютном мире, сегодня поселилась надежда.

10. Друзья Николя.

Утром Николя проснулся затемно, хотя за окном уже чувствовалась весна. Снег почти сошёл, оставив после себя только грязные лужи и мокрую землю. В воздухе пахло оттепелью, сыростью и чем-то свежим, обещающим скорое тепло. Солнце, хоть и низкое, уже пригревало по-настоящему, и первые робкие капели разбивали утреннюю тишину.

В комнате было тихо и прохладно. Отец, как всегда, давно ушёл на завод — его кровать стояла пустой, одеяло аккуратно сложено. Мать уже была на работе: она работала кухаркой в столовой и уходила затемно, чтобы успеть приготовить завтрак для сотен рабочих. Бабушка Зара, как всегда, молилась в углу, шевеля губами и перебирая узелки на старой шали.

Николя вскочил с постели, едва открыв глаза. Он не хотел опаздывать. Он не мог опоздать.

Бабушка Зара обернулась на шум, посмотрела на внука своими чёрными, глубокими глазами и улыбнулась золотым ртом.

— Ты чего так рано, мой внучек? — спросила она по-французски, с лёгким акцентом.

— Я хочу прийти раньше, бабушка, — ответил Николя, натягивая через голову свитер. — Чтобы показать, что я пунктуальный и ответственный. Чтобы они не пожалели, что взяли меня.

Бабушка Зара кивнула, поднялась с колен и подошла к нему. Её сухие, морщинистые руки легли ему на плечи.

— Ты у меня молодец, — сказала она. — Иди. Твоя музыка — твоя судьба. Не сворачивай с неё.

Она сунула ему в руку кусок хлеба, оставшийся со вчерашнего вечера, и перекрестила на прощание — по-своему, по-цыгански, шепнув что-то на родном языке.

Николя выбежал на улицу. Весенний воздух был свежим и влажным, солнце только начинало подниматься над крышами. Город медленно просыпался: где-то лаяли собаки, хлопали двери, слышались приглушённые голоса людей, спешащих по своим делам. Война никуда не делась, но утро начиналось, и это утро принадлежало ему.

Он почти бежал, перепрыгивая через лужи, прижимая к

груди скрипку. Сердце колотилось от предвкушения, а на губах сама собой появлялась улыбка.

Дом культуры встретил его тишиной. Двери были ещё заперты, и Николя уже испугался, что пришёл слишком рано и ему придётся ждать на холодном ветру, но тут дверь отворилась, и на пороге показался Люсьен Бернар.

Дирижёр был без фуражки, в расстёгнутом кителе и с чашкой горячего чая в руках. Увидев Николя, он удивлённо приподнял бровь, а потом улыбнулся — широко, искренне, по-доброму.

— Ну надо же, — сказал Люсьен, отступая в сторону и пропуская мальчика внутрь. — Ты пришёл раньше всех. А весна, видно, тебя подгоняет.

Николя смущённо улыбнулся, переступив порог.

— Я не хотел опаздывать, — сказал он. — Я хотел… доказать.

— Что доказать? — спросил дирижёр, прищурившись.

— Что я пунктуальный. Что я ответственный. Что вы не ошиблись, — выпалил Николя на одном дыхании.

Люсьен поставил чашку на подоконник, подошёл к мальчику и положил руку ему на плечо.

— Слушай меня, Николя, — сказал он тихо, но твёрдо. — Ты уже ничего не должен доказывать. Ты здесь, и это главное. А то, что ты пришёл на час раньше, — это не просто пунктуальность. Это характер. Запомни этот день. Сегодня начинается твоя новая глава жизни.

Николя почувствовал, как внутри разливается тепло. Он благодарно кивнул и прошёл за дирижёром в актовый зал.

Зал был пуст. Стулья аккуратно расставлены, пюпитры блестят в свете утренних ламп. Сквозь грязные окна пробивались первые лучи весеннего солнца, и пылинки танцевали в них, словно маленькие золотые ноты. На сцене стоял рояль — чёрный, массивный, с закрытой крышкой. Николя смотрел на него и вспоминал Жерара. Но сегодня он не хотел думать о плохом.

Люсьен устроился в первом ряду, жестом приглашая Николя сесть рядом.

— Пока остальные подходят, — сказал он, — я хочу тебе кое-что рассказать.

Николя послушно сел и положил футляр со скрипкой на колени.

— Мы довольно часто даём концерты, — начал дирижёр, глядя куда-то вдаль, сквозь стену. — Не здесь, конечно. В госпиталях, в военных частях, иногда — на площадях, если позволяет обстановка. Для людей. Для солдат. Для раненых. Для тех, кто потерял надежду.

Николя слушал, затаив дыхание.

— Знаешь, что я заметил за эти годы? — продолжал Люсьен. — Музыка помогает им. Когда человек слышит мелодию — настоящую, живую, идущую от сердца, — он забывает о боли. Хотя бы на несколько минут. Хотя бы на время одной песни.

Он повернулся к Николя, и в его глазах засветилось что-то тёплое, почти отцовское.

— А мы, музыканты, когда видим эти благодарные глаза, когда слышим «спасибо», когда понимаем, что наша игра кого-то спасла — пусть не от пули, пусть от отчаяния, — мы сами чувствуем, что мы не зря живём. Что мы помогаем. Понимаешь, Николя? Мы не просто играем ноты. Мы лечим

души.

Николя сглотнул. В горле снова запершило, но на этот раз не от боли, а от чего-то большого, что не помещалось в груди.

— Я хочу помогать, — сказал он тихо, почти шёпотом. — Я хочу, чтобы моя музыка лечила.

— Так и будет, — ответил Люсьен и хлопнул его по колену. — Так и будет, мой мальчик.

В дверях послышались голоса. Кто-то смеялся, кто-то громко здоровался. Участники оркестра начали подходить — кто с футляром в руках, кто с нотной папкой под мышкой. Они были разными: молодыми и пожилыми, весёлыми и серьёзными, но все они несли в себе что-то общее — любовь к музыке и желание делать этот мир хоть чуточку лучше.

Люсьен поднялся и громко хлопнул в ладоши.

Николя стоял посреди этого большого, шумного, живого зала и чувствовал, что его новая глава действительно началась

Когда все участники оркестра наконец собрались, актовый зал наполнился шумом, смехом и говором. Кто-то на-

страивал инструмент, кто-то перелистывал ноты, кто-то просто пил горячий напиток из жестяной кружки, наслаждаясь последними минутами отдыха перед репетицией.

Николя стоял в стороне, прижимая к груди скрипку, и робко оглядывался по сторонам. Взрослые музыканты — мужчины и женщины, молодые и не очень, — казались ему существами из другого мира. Они говорили на каком-то особенном, музыкальном языке, перебрасывались непонятными ему терминами и шутили над чем-то, что было известно только им.

— Внимание! — громко объявил Люсьен Бернар, выходя в центр сцены и поднимая руки. — Внимание, коллеги. Прошу тишины.

Шум постепенно стих. Все взгляды устремились на дирижёра.

— У нас сегодня знаменательное событие, — продолжал Люсьен, и в голосе его звучала торжественность. — В нашем оркестре появился скрипач. Прошу любить и жаловать — Николя.

Несколько человек обернулись в сторону мальчика. Кто-то кивнул одобрительно, кто-то просто скользнул взглядом,

кто-то улыбнулся краешком губ.

— И это не просто скрипач, — добавил дирижёр с лукавой ноткой в голосе. — Это такой скрипач, который заставил замолчать даже нашего Жерара.

Кое-кто тихо хмыкнул. Жерар, сидевший за роялем в углу сцены, не поднял головы, но его длинные бледные пальцы на мгновение замерли над клавишами.

— А это значит, — продолжал Люсьен, — что мы будем разучивать новые песни. Репертуар нужно расширять. Готовьте ноты. Начнём с вальса.

Николя занял своё место — в третьем ряду, среди других струнных. Он поднёс скрипку к плечу, замер, ожидая первого взмаха дирижёрской палочки.

Люсьен поднял руку. Тишина стала абсолютной.

— Раз, два, три, четыре… — отсчитал он.

И зазвучала музыка.

Николя закрыл глаза и отдался мелодии. Пальцы его бежали по струнам легко и свободно, словно знали каждую но-

ту заранее. Смычок скользил плавно, без единой запинки. У него всё получалось. Всё получалось с первой попытки, будто он играл эту партию всю свою жизнь.

Он наслаждался этим чувством — когда музыка рождается не где-то снаружи, а прямо внутри тебя, заполняет каждую клеточку, заставляет сердце биться в такт. Он чувствовал, как остальные инструменты вплетаются в его партию, как виолончель поддерживает снизу, как флейта звенит где-то высоко-высоко, как рояль Жерара — пусть нехотя, пусть сквозь зубы — но всё же ложится ровным, красивым аккомпанементом.

Но лёгкое волнение всё равно оставалось. Николя то и дело бросал быстрые взгляды по сторонам: не смотрит ли кто на него косо? Не перешёптываются ли за спиной? Не кажется ли кому-то, что он здесь лишний?

Никто не шептался. Все были поглощены музыкой.

Когда репетиция закончилась, Люсьен Бернар опустил руки и удовлетворённо кивнул.

— Неплохо, — сказал он. — Совсем неплохо для первого раза. Николя, ты молодец. Быстро втянулся.

Николя опустил скрипку и выдохнул — долго, с облегчением. Ладони его вспотели, но он был счастлив.

— А теперь, — продолжал дирижёр, взглянув на часы, — у нас тридцать минут перерыва. Можете передохнуть, выпить воды, размять пальцы.

Музыканты зашевелились, заговорили, кто-то потянулся, кто-то встал и направился к выходу. Но Люсьен поднял руку ещё раз.

— После перерыва, — сказал он громче, перекрывая шум, — мы пойдём заниматься уже не музыкальными делами. А хозяйственными работами.

По залу прошёлся сдержанный вздох. Кто-то закатил глаза, кто-то привычно вздохнул, кто-то просто пожал плечами — видимо, это было не впервой.

— Весна, господа, — напомнил Люсьен, указывая рукой в сторону грязных окон, за которыми виднелось светлеющее небо. — В доме культуры нужно наводить порядок. Кому-то — подкрасить рамы, кому-то — вымыть полы, кому-то — привести в порядок клумбы. Скоро первые цветы. Нельзя, чтобы вокруг было запустение.

Николя сглотнул. Он вспомнил слова Элоизы Дюваль: «Сажать цветы, делать ремонт и всё остальное». Значит, это началось.

— Не бойся, — услышал он вдруг голос сбоку. Он обернулся и увидел пожилого виолончелиста с добрым, морщинистым лицом. — Это не наказание. Мы все через это проходим. Даже Люсьен сам красит с нами заборы.

Николя слабо улыбнулся в ответ.

— Я не боюсь, — сказал он. — Я обещал. Я всё сделаю.

Виолончелист хлопнул его по плечу и пошёл к выходу, оставив Николя одного посреди сцены.

Мальчик перевёл взгляд на окно. Весеннее солнце пробивалось сквозь мутные стёкла, и где-то за стенами дома культуры уже звонко чирикали воробьи.

Он глубоко вздохнул, уложил скрипку в футляр и пошёл готовиться к тому, что его ждало после перерыва.

В перерыве Николя отошёл к окну, поставил футляр со скрипкой на пол и просто смотрел на улицу. Весеннее солнце уже поднялось выше, лужи на дороге блестели, как кусочки

разбитого зеркала. Где-то вдалеке сновали люди, машины, лошади с телегами — обычная военная жизнь, к которой он привык за два долгих года.

— Привет, — услышал он вдруг голос сбоку.

Николя обернулся. Перед ним стоял парень, который во время репетиции сидел в ряду духовых — кажется, он играл на кларнете. Парень был заметно старше Николя, выше ростом, с немного грязными светлыми волосами, которые падали на лоб непослушной прядью. Глаза у него были карими — тёплыми, почти золотистыми на солнце, — и смотрели они на Николя дружелюбно, без тени высокомерия.

Парень протянул руку.

— Меня зовут Луи, — сказал он, и голос его звучал мягко, по-приятельски. — Луи Дюран. Играю на кларнете. Ты очень хорошо играешь, Николя. Я слышал.

Николя несмело пожал протянутую руку. Ладонь у Луи была тёплой и сухой, пожатие — крепким, но не грубым.

— Спасибо, — ответил Николя тихо. — Я старался.

— Старался? — Луи усмехнулся, обнажив ровные белые

зубы. — Да ты с первой ноты попал в партию, как будто всю жизнь её играл. Это не просто старание. Это талант.

Николя смутился и опустил глаза. Похвала была приятной, но неловкой — он не привык к тому, чтобы его хвалили.

— Слушай, — продолжал Луи, прислоняясь плечом к подоконнику, — я хочу тебе кое-что сказать. Ты теперь в оркестре. Чувствуй себя как дома. Не бойся коллектива.

Николя поднял голову и посмотрел на него с недоумением.

— Как дома? — переспросил он.

— Именно, — кивнул Луи. — Здесь все свои. Бывает, конечно, всякое — характеры разные, люди непростые, — но в итоге все становятся друг другу почти второй семьёй. Я сам, когда пришёл два года назад, боялся каждого чиха. А сейчас… — он развёл руками, — сейчас я не представляю жизни без этих людей. Даже без Жерара, — добавил он шёпотом и подмигнул.

Николя невольно улыбнулся.

— Спасибо тебе, Луи, — сказал он искренне. — Мне

правда легче от твоих слов.

— И правильно, — отозвался Луи. — А скажи-ка, где ты раньше работал? До того, как попал к нам.

Николя вздохнул. Воспоминания о заводе были тяжёлыми, но он не хотел врать этому доброму, открытому парню.

— На военном заводе, — сказал он, глядя куда-то в пол. — Я катал тележки со строительным мусором и прочим. Туда-сюда, туда-сюда. По двенадцать часов в день, иногда больше. Работа была тяжёлой.

Луи слушал внимательно, не перебивая.

— И знаешь, — продолжал Николя, и голос его чуть дрогнул, — у меня там был друг. Марио. Мы вместе начинали, вместе тележки катали, вместе хлеб пополам делили. А потом… потом однажды его не стало. Ночь, бомбёжка… я не знаю. Я не нашёл его. Я только слышал, что их семья переехала. Я очень на это надеюсь. Надеюсь, что они действительно переехали, а не погибли.

Он замолчал, сжав зубы, чтобы слёзы снова не подступили к глазам.

Луи положил руку ему на плечо.

— Это тяжело, — сказал он тихо. — Терять друзей. Особенно когда ты ничего не можешь сделать. Но ты держался. Ты не сломался. Знаешь, что я думаю?

Николя поднял на него глаза.

— Я думаю, что у тебя стальной характер и железная сила воли, — сказал Луи серьёзно, без тени лести. — Ты прошёл через ад, а остался человеком. Да ещё и музыку не бросил. Это дорогого стоит.

Николя вытер глаза рукавом и слабо улыбнулся.

— А вот мне, — продолжал Луи, и в голосе его вдруг проскользнула горькая нотка, — не суждено было такого. Понимаешь, мой отец — военный офицер. Высокий чин. И как только мы узнали про войну, он сразу определил меня сюда. Никаких проб, никаких экзаменов, никакой борьбы. Просто привел и сказал кому надо — и я здесь.

Он замолчал, глядя в окно на весеннюю улицу.

— Я не жалуюсь, — добавил он после паузы. — Я люблю музыку, я рад, что играю. Но иногда мне кажется, что я не за-

служил этого места. Что кто-то другой, кто прошёл через то, через что прошёл ты, должен был сидеть здесь вместо меня.

Николя посмотрел на Луи с удивлением. Ему казалось, что парень, у которого отец — офицер, не может иметь таких мыслей. А оказалось, может.

— Ты не виноват, что тебе повезло, — сказал Николя тихо. — И потом, ты играешь красиво. Я слышал. Ты заслужил это место не фамилией, а музыкой.

Луи повернулся к нему и широко, по-настоящему улыбнулся.

— Знаешь, Николя, — сказал он, — я рад, что ты пришёл в наш оркестр. Очень рад.

Он хлопнул мальчика по плечу и отошёл, оставив Николя наедине с его мыслями. А Николя стоял у окна, смотрел на весеннее солнце и впервые за долгое время чувствовал, что он не один.

— Идём со мной, — сказал Луи, кивнув в сторону коридора. — Хозяйственные работы — это не так скучно, когда ты не один.

Николя подхватил футляр со скрипкой, но Луи остановил его.

— Оставь здесь, в зале. Никто не тронет. У нас тут свои порядки — инструменты в безопасности.

Николя послушно поставил скрипку у стены, бросил на неё прощальный взгляд и вышел следом за Луи.

Они прошли длинным полутёмным коридором, мимо облупившихся стен и высоких окон, сквозь которые пробивался весенний свет. Где-то капала вода, где-то скрипели половицы под ногами. Дом культуры дышал — тяжело, с хрипотцой, как старый больной человек, но всё же дышал.

— Что нам предстоит делать? — спросил Николя, стараясь не отставать от длинноногого Луи.

— Наводить порядок в чайной комнате, — ответил тот, не оборачиваясь. — Это маленькое помещение в конце коридора. Со временем мы её полностью починим — крышу подлатаем, стены выровняем, мебель починим. И тогда сможем там собираться после репетиций, пить чай, болтать. Ты даже не представляешь, как это важно — иметь своё место, где можно просто побыть с друзьями.

— Там будут твои друзья? — осторожно спросил Николя.

— Мои друзья, твои друзья, — улыбнулся Луи. — Теперь уже общие. Они хорошие люди, Николя. Не бойся. Мы все тебя уже приняли, ещё до того, как ты сыграл первую ноту. А после того, как ты сыграл… — он покачал головой и присвистнул, — о тебе теперь только и разговоров.

Луи толкнул обшарпанную деревянную дверь, и она со скрипом отворилась.

Николя шагнул внутрь и остановился на пороге.

Комната была небольшой, квадратной, с одним окном, затянутым пыльной марлей. Солнце с трудом пробивалось сквозь эту преграду, отчего помещение казалось погружённым в мутный, желтоватый полумрак.

Потолок местами обвалился, и куски старой штукатурки лежали на полу белесыми осколками, вперемешку с известковой пылью. Пыль была повсюду — толстым серым слоем она покрывала пол, подоконник, оставленную кем-то старую газету, обломки стульев и перевёрнутый стол, валявшийся в углу. Мебель была разбросана, как попало: три стула стояли криво, один лежал на боку, ещё один был сломан, и его ножки торчали в разные стороны, как у мёртвого жука.

— Красиво, правда? — усмехнулся Луи, заметив выражение лица Николя. — Ремонт нам предстоит грандиозный. Но ничего, мы справимся.

В дальнем углу комнаты уже кто-то был. Николя насчитал троих — молодых парней, примерно ровесников Луи, лет шестнадцати-семнадцати. Они стояли, опершись на веники и тряпки, и о чём-то оживлённо спорили.

— Народ! — громко объявил Луи, хлопнув в ладоши. — Знакомьтесь. Это Николя. Наш новый скрипач.

Парни разом повернулись.

Один из них — рыжеватый, с веснушками на носу и цепким взглядом — сразу шагнул вперёд.

— Так это ты тот самый? — спросил он с любопытством. — Тот, кто заставил Жерара замолчать?

Николя смущённо пожал плечами.

— Я не знаю… наверное.

— А меня зовут Пьер, — парень протянул руку. — А это

Тома и Марк, — он кивнул на остальных.

Тома был темноволосым, с густыми бровями и серьёзным выражением лица. Марк — светлым, почти белобрысым, с весёлыми искорками в глазах. Они по очереди пожали руку Николя, и каждый что-то сказал — «привет», «добро пожаловать», «рады познакомиться».

— Мы слышали, как ты играл, — сказал Марк, опираясь на швабру. — Через стенку доносилось. Даже наши духовые замолчали — слушали.

Николя не знал, куда девать глаза от смущения.

— Да ладно вам, — пробормотал он. — Я просто играл.

— Просто играл, — хмыкнул Пьер, покачав головой. — Так просто у нас никто не играет. Тут весь оркестр гудит. Даже старики говорят, что такого таланта давно не видели.

Они начали разбирать завал — переставляли стулья, собирали обломки штукатурки в угол, протирали подоконник. Работа спорилась, и вскоре комната стала понемногу приобретать человеческий вид. Пыль всё ещё стояла в воздухе, но уже не такой плотной пеленой.

Ребята болтали — каждый о своём. Кто-то жаловался на затянувшуюся войну, кто-то вспоминал довоенные концерты, кто-то шутил про строгого Жерара и его вечно недовольное лицо.

И тут Тома, темноволосый, с серьёзными глазами, вдруг спросил:

— Николя, а скажи честно. Чем же ты так удивил этого старого пианиста? Мы уже весь дом культуры об этом услышали. Жерар, говорят, даже слова не нашёл. А он всегда находит слова, чтобы кого-нибудь задеть.

Николя сглотнул.

— Я ничего такого не делал, — ответил он тихо. — Я просто сыграл на скрипке. Мелодию, которую научила меня бабушка. Вот и всё. Никакого секрета.

Пьер, рыжий и веснушчатый, вдруг сощурился и сказал с кривой усмешкой:

— А может, это цыганская магия? Я слышал, что цыгане умеют такое…

Он не договорил. Луи резко обернулся, и его обычно доб-

рые карие глаза сверкнули гневом.

— Пьер! — рявкнул он так громко, что даже пыль взметнулась с подоконника. — Ты что несёшь?

Пьер опешил. Он явно не ожидал такой реакции.

— Я ничего… я просто…

— Ты просто сказал глупость, — отрезал Луи, подходя к нему вплотную. — Магия? Серьёзно? Мы здесь музыкой занимаемся, а не ярмарочными фокусами. Николя — музыкант. Талантливый музыкант. И то, что у него цыганские корни, не имеет никакого значения. Извинись сейчас же.

Пьер покраснел до кончиков ушей. Его веснушки стали ещё заметнее на пунцовом лице.

— Прости, Николя, — сказал он, опустив глаза. — Я не хотел тебя обидеть. Честно. Просто язык глупый, сам не знаю, зачем ляпнул.

Тишина повисла в комнате. Марк и Тома переглянулись, не зная, что сказать.

А Николя вдруг улыбнулся. Широко, искренне, без тени

обиды.

— Ничего страшного, — сказал он спокойно. — Ты не сказал ничего обидного. Правда.

Пьер поднял на него удивлённые глаза.

— Ты не злишься?

— Нет, — покачал головой Николя. — Ты же извинился. И потом… — он чуть помолчал, — может, магия в этом и есть. Не в цыганах, а в музыке. В том, как она заставляет людей забывать о глупостях.

Луи хлопнул Николя по плечу, и лицо его снова стало добрым.

— Молодец, — сказал он. — Золотой характер.

А Пьер облегчённо выдохнул и, схватив веник, принялся с удвоенной силой мести пол — видимо, искупать вину.

Когда большая часть работы была сделана, Луи выпрямился, отряхнул руки от пыли и громко объявил:

— Всё, народ, перерыв на обед.

Николя отложил тряпку, которой протирал подоконник, и с удивлением посмотрел на Луи. Он и не заметил, как пролетело время.

— Здесь кормят, — пояснил Луи, заметив его удивлённый взгляд. — Маленькими порциями, война всё-таки, но зато сытными и свежими. Мадам Элоиза за этим строго следит.

— Пойдём, — позвал его Пьер, уже направляясь к двери. — Ты сегодня заслужил хороший обед, Николя.

Они прошли в небольшую столовую комнату — такую же пыльную и обшарпанную, как и всё здание, но уже чуть более обжитую. Длинный деревянный стол был накрыт чистой, хотя и застиранной скатертью, на тарелках дымилась простая, но аппетитная еда: густой суп с кусочками хлеба, каша с маленьким кусочком масла, а на десерт — компот из сушёных фруктов.

— Садись с нами, — сказал Луи, указывая на место рядом с собой. — Ты теперь наш друг, Николя. Запомни: на нас можно положиться. В любой ситуации. Здесь никто тебя не предаст и не бросит.

Николя сел, чувствуя, как к горлу подступает тёплый ком.

Ему никогда не говорили таких слов. На заводе у него были товарищи, но не друзья. Там каждый был сам за себя, каждый боялся за свою жизнь, за свой паёк, за своих родных. А здесь… Здесь пахло не гарью и железом. Здесь пахло супом, деревом, старой скатертью и — музыкой. И люди здесь были другие.

— Спасибо, — сказал он тихо, глядя на Луи, Пьера, Тома и Марка. — Спасибо вам всем.

— Будет, — отмахнулся Пьер с набитым ртом. — Ты лучше ешь, а то суп остынет.

Обед прошёл в тёплой, непринуждённой беседе. Ребята шутили, делились новостями, кто-то вспомнил смешной случай с прошлой репетиции, когда у трубача слетел мундштук прямо посреди пассажа. Николя смеялся вместе со всеми, и ему казалось, что он знает этих людей уже много лет.

После обеда работа продолжилась — мыли полы, выносили мусор, чинили сломанный стул. К концу дня комната преобразилась: стены были очищены от паутины, пол выскоблен, мебель расставлена более-менее ровно.

— На сегодня всё, — объявил подошедший Люсьен Бернар. — Все свободны. Завтра в девять, не забывайте.

Николя забрал свою скрипку, попрощался с новыми друзьями и вышел на улицу.

Весеннее солнце клонилось к закату, окрашивая небо в розовые и золотистые тона. Воздух был свежим и прозрачным, лужи уже подсохли, и из-под мокрой земли пробивались первые робкие травинки.

Николя шёл домой радостный, почти счастливый. Он улыбался прохожим, здоровался с соседями, даже помахал рукой какому-то незнакомому мальчишке, который сидел на скамейке и чистил картошку. Война никуда не делась — вдалеке по-прежнему ухали орудия, патрули проверяли документы, люди ходили хмурые и уставшие. Но внутри у Николя всё пело. Пело громко, чисто, на одной высокой ноте.

Дома его ждали.

Он вбежал в комнату, запыхавшийся, раскрасневшийся, с горящими глазами.

— Мама! Папа! Бабушка! — закричал он с порога. — Вы не поверите!

Семья как раз собиралась за ужином. Мать — кухарка Ма-

ри — устало опустилась на стул, сняв пропитанный кухонным чадом фартук. Отец — Клод — хмуро перебирал какие-то бумаги, но при виде сына его лицо смягчилось. Бабушка Зара, как всегда, сидела в углу и что-то тихо напевала.

Николя выпалил всё одним духом, не переводя дыхания.

— У меня есть друзья! Настоящие друзья! Их зовут Луи, Пьер, Тома и Марк. Они играют в оркестре. Луи сказал, что я теперь свой, что на них можно положиться. Мы вместе убирали чайную комнату, а потом обедали за одним столом. А ещё Жерар — тот, который меня прогнал — он, оказывается, не такой уж страшный. Он просто старый и вредный, но моя игра ему понравилась, я это видел! И вообще меня все заметили, все говорят, что у меня талант! — он говорил всё громче и быстрее, размахивая руками. — А ещё Люсьен сказал, что у меня характер! А Луи сказал, что у меня стальная воля!

Он перевёл дыхание и посмотрел на семью. У матери на глазах блестели слёзы. Отец молчал, но его губы чуть дрожали. Бабушка Зара улыбалась своей беззубой улыбкой и кивала, словно знала всё заранее.

— Молодец, сынок, — сказал наконец отец, и голос его прозвучал глуховато, но твёрдо. — Я рад за тебя.

Николя лёг спать с чувством полного, абсолютного счастья. Он лежал на своей жёсткой койке, накрывшись старым одеялом, и смотрел в потолок, где плясали тени от уличных фонарей. За окном стихал город, где-то лаяли собаки, где-то хлопали двери. Весенняя ночь вступала в свои права.

Он уже почти заснул, когда услышал тихие шаги. Дверь приоткрылась, и в комнату вошёл отец — сгорбленный, хромой, с почерневшими от заводской копоти руками. Он сел на край кровати и долго молчал, глядя на сына.

— Ты не спишь? — спросил он наконец.

— Нет, папа, — тихо ответил Николя.

Отец вздохнул. Потом заговорил — медленно, взвешивая каждое слово:

— Послушай меня, сынок. Я хочу, чтобы ты знал. После войны… после войны тебя ждёт большая карьера. Я это чувствую. Твой талант — это не просто так. Это дар. И дорога перед тобой будет, возможно, тернистой. Будут те, кто захочет тебя остановить. Будут те, кто скажет, что ты не достоин. Будут те, кто, как Жерар, будут судить по твоему лицу, а не по твоей игре.

Николя смотрел на отца, не отрывая глаз.

— Но ты справился в такое непростое время, — продолжал Клод. — Ты не сломался. Ты не озлобился. Ты пошёл дальше. Значит, справишься и дальше, что бы ни случилось. Запомни это.

Николя кивнул, хотя внутри у него всё переворачивалось от этих слов.

А потом он вспомнил. Вспомнил о Марио.

— Папа, — спросил он тихо, почти шёпотом, — а Марио? Того моего друга… с завода… правда ли, что они погибли?

Отец надолго замолчал. Николя видел, как его рука, лежавшая на одеяле, сжалась в кулак, а потом разжалась.

— Не могу дать тебе точного ответа, сынок, — сказал он наконец. — Никто не может. Война — это хаос. Люди исчезают, люди появляются, люди теряются. Но многие говорят… многие говорят, что именно в тот вечер, когда это случилось, они успели уехать. Их видели на станции. С вещами, с детьми. Уезжали на восток.

Николя почувствовал, как в груди разливается слабая, хрупкая надежда.

— Ты хочешь сказать, что он мог выжить?

Отец помолчал, собираясь с мыслями, и потом заговорил тихо, почти шёпотом — так, как рассказывают древние истории:

— Сынок, я расскажу тебе одну притчу. Слушай внимательно.

Он откинулся на спинку кровати, прищурился, глядя куда-то в темноту, и начал:

— Жил-был на свете старый часовщик. Он чинил часы в маленьком городке. И вот однажды пришёл к нему молодой человек, у которого погиб брат на войне. И спросил он: «Мастер, как мне жить дальше? Как мне смириться с тем, что брата больше нет? Как мне не сойти с ума от горя?»

Часовщик помолчал, а потом сказал: «Видишь эти часы? Каждая шестерёнка в них важна. Выпадет одна — и часы остановятся. Так и в мире. Каждый человек — это шестерёнка. И когда одна ломается, на её место приходит другая. Не потому, что мы забываем старую, а потому, что мир должен

идти дальше».

Молодой человек спросил: «Значит, я должен забыть брата?»

«Нет, — ответил старик. — Ты должен запомнить каждую чёрточку его лица, каждый его смех, каждое сказанное им слово. Потому что человек жив, пока жива память о нём. Ты станешь той самой новой шестерёнкой. Не взамен, а рядом. В память о нём. С его силой в своих руках».

Отец замолчал и положил тяжёлую ладонь на руку Николя.

— Понимаешь, сынок? Мир взаимосвязан. Один человек заменяет другого — не по сути, а по делу. Главное — верить, что всё хорошо. Что с Марио всё хорошо. Где бы он ни был. А если его больше нет… — голос отца дрогнул, — то он живёт в тебе. В твоей музыке. В твоей памяти.

Николя закрыл глаза. Перед мысленным взором встало лицо Марио — весёлое, чуть взлохмаченное, с родинкой на щеке. Он вспомнил, как они вместе таскали тяжёлые тележки, как делили последний кусок хлеба, как шептались по ночам в тесном заводском бараке.

— Я запомню, папа, — прошептал он. — Я его не забуду.

Отец наклонился, поцеловал сына в лоб и встал.

— Спи, — сказал он. — Завтра новый день. А там — репетиция.

Николя кивнул. В комнате стало тихо. Только слышно было, как бабушка Зара за стеной тихонько напевала что-то на цыганском — старую, древнюю мелодию, которую он знал с детства.

Он закрыл глаза и под эту мелодию провалился в глубокий, спокойный сон.

11. Прогулка.

Вся следующая неделя пролетела для Николя как один миг. Каждое утро он просыпался затемно — ещё до того, как мать уходила на работу, ещё до того, как бабушка Зара заканчивала свою молитву. Он быстро умывался, наскоро завтракал тем, что оставалось со вчерашнего дня, и бежал в дом культуры. Скрипка всегда была с ним — он держал её под мышкой, прижимая к себе, словно самое дорогое сокровище.

Ребята встречали его улыбками. Луи хлопал по плечу, Пьер отпускал какую-нибудь шутку, Тома и Марк кивали издалека. Даже Жерар, хотя и продолжал хмуриться и не разговаривал с Николя лишний раз, перестал бросать в его сторону презрительные взгляды. Он просто молча садился за рояль, пробегал длинными тонкими пальцами по клавишам и играл свою партию — ровно, профессионально, без лишних эмоций.

Репетиции шли одна за другой. Люсьен Бернар был строг, но справедлив. Он заставлял Николя переигрывать трудные пассажи по несколько раз, добиваясь чистоты и точности.

— Талант — это ещё не всё, — говорил дирижёр. — Талант — это семя. А труд — это вода и солнце. Без них ничего не вырастет.

Николя слушался. Он впитывал каждое слово, каждое замечание, каждое движение дирижёрской палочки. Он хотел стать лучше. Он хотел доказать, что место в оркестре дано ему не зря.

По вечерам он возвращался домой уставший, но счастливый. Мать кормила его ужином, отец молча кивал, а бабушка Зара, глядя на него своими чёрными, как угли, глазами, тихо улыбалась и шептала:

— Растёшь, мой цыганёнок. Крылья расправляешь.

И вот наступила суббота.

Николя, как обычно, вскочил рано утром, натянул на себя одежду, схватил скрипку и почти бегом отправился в дом культуры. Он шёл по весенним улицам, вдыхал свежий воздух и напевал что-то себе под нос. Солнце уже пригревало по-настоящему — по-апрельски, щедро, обещая скорое тепло. С крыш звенела капель, в лужах отражалось голубое небо, и даже военные патрули казались сегодня менее хмурыми.

Он подошёл к знакомому зданию, толкнул дверь и вошёл в полумрак вестибюля.

Навстречу ему поднялся сторож — тот самый пожилой мужчина в потёртой гимнастёрке, которого Николя видел в первый день.

— Ты чего пришёл, парень? — спросил сторож равнодушно, почесывая затылок.

— Репетиция, — ответил Николя, удивлённый тем, что зал пуст и не слышно ни звука.

— Какая репетиция? — сторож усмехнулся. — Суббота сегодня. Выходной. На выходных нет репетиций. Приходи в понедельник.

Николя замер. Он как-то не подумал о том, что у оркестра могут быть выходные. Вся неделя была расписана по часам: репетиции, хозяйственные работы, обед, снова репетиции. А суббота… суббота выпала из его сознания.

— Выходной, — повторил он растерянно, опуская скрипку.

— Выходной, — подтвердил сторож и махнул рукой в сторону двери. — Иди гуляй, парень. Погода вон какая.

Николя вышел на крыльцо и прищурился от яркого солнца. Он не знал, куда идти. Дома его ждали только пустая комната и бабушка Зара, которая, скорее всего, уже ушла в прачечную. Идти было некуда.

Он побрёл по улице, сам не зная куда. Ноги несли его в сторону небольшого сквера, где росли старые раскидистые деревья, начинающие покрываться молодой зеленью. Он уже хотел присесть на скамейку, как вдруг услышал знакомый голос:

— Николя!

Он обернулся. С другой стороны улицы к нему бежали — нет, не бежали, а почти летели — Луи, Пьер, Тома и Марк. Луи махал рукой, Пьер что-то кричал, а Тома просто улыбался своей серьёзной, редкой улыбкой.

— Ты куда пропал? — выпалил Луи, подбегая первым. — Мы же не знали, где ты живёшь! Хотели зайти, а спросить не у кого.

— Я в дом культуры ходил, — растерянно ответил Николя. — А там сказали, что выходной.

— Вот и отлично! — воскликнул Пьер. — Значит, ты свободен. Пошли с нами!

— Куда? — спросил Николя, хотя сердце его уже забилось быстрее от предвкушения.

— Гулять! — хором ответили ребята.

Николя и сам не заметил, как оказался в их компании. Они шли по весенним улицам, громко разговаривая и смеясь. Луи рассказывал какую-то историю про соседского ко-

та, который стащил у его матери рыбу. Пьер показывал фокусы с монеткой, которую прятал между пальцами. Тома и Марк спорили о том, какой инструмент важнее в оркестре — скрипка или кларнет.

А Николя шёл и слушал. Он впервые за время войны шёл просто так — не на работу, не на репетицию, не домой. Он шёл гулять. Как обычный мальчишка. Как будто войны не было вовсе.

Погода стояла удивительная. Солнце светило вовсю, ветер был тёплым и ласковым, с лёгким запахом оттаявшей земли и молодой травы. Где-то в кустах заливались птицы, над головой пролетела стайка воробьёв, и один из них присел на плечо Марку, чем вызвал всеобщий хохот.

— Тише ты! — зашипел Марк, смахивая птицу. — Спугнёшь всё веселье.

Ребята привели Николя на пустырь за старым кирпичным заводом. Там было просторно, сухо, и трава уже пробивалась сквозь прошлогоднюю листву жёсткими зелёными стрелками. Они расстелили на земле старую куртку, которую Пьер носил с собой вместо сумки, и расселись кто где.

— А ты что-нибудь умеешь, кроме скрипки? — спросил

Марк, жуя травинку.

— Не знаю, — честно ответил Николя. — Я никогда не пробовал ничего другого.

— А давай в футбол? — предложил Пьер. — Я мяч прихватил.

Они играли до самого вечера. Поле было неровным, кочковатым, ворота приходилось обозначать куртками, а мяч был старым, драным, подвязанным верёвкой. Но для ребят это был настоящий праздник.

Николя бегал, смеялся, падал в траву, отбивал мяч головой, кричал что-то весёлое и нелепое. Он забыл про голод. Забыл про усталость. Забыл про войну, про бомбёжки, про заводскую копоть, про смерть Марио и про то, как он боялся того, что будет завтра.

Сегодня не было завтра. Был только этот день. Только это солнце. Только эти мальчишки, которые стали ему друзьями.

— Николя! Лови! — крикнул Луи, и мяч полетел прямо в него.

Он подставил ногу, ударил не глядя — и мяч влетел прямо

в «ворота», между двух курток.

— Го-о-ол! — заорал Пьер на весь пустырь. — Ты гений, Николя!

Николя упал на траву, раскинув руки в стороны, и засмеялся. Смеялся так, что заболел живот, а из глаз потекли слёзы — но на этот раз от счастья, от чистого, беспримесного счастья.

Луи плюхнулся рядом, за ним — Пьер, потом Тома и Марк. Они лежали впятером на молодой траве, смотрели в высокое весеннее небо и молчали. Каждый думал о своём. Но молчание это было тёплым, дружеским, ненуждающимся в словах.

Когда солнце начало клониться к закату, раскрашивая небо в оранжевые и розовые тона, ребята поднялись.

— Нам пора, — сказал Луи, отряхивая штаны. — Мама будет ругаться.

— А мы завтра встретимся? — спросил Николя, боясь услышать ответ.

— Конечно, — ответил Пьер, как будто это было само

собой разумеющимся. — Воскресенье же. Тоже выходной. Приходи сюда в полдень.

Николя кивнул и улыбнулся.

Они попрощались — кто за руку, кто хлопнул по плечу, кто просто помахал издалека. И разошлись в разные стороны, растворившись в сумерках весеннего города. Николя шёл домой медленно, не спеша. Он нёс в себе что-то новое, что-то светлое, что росло в его груди и никак не хотело умещаться. Это была дружба. Настоящая, первая в его жизни дружба.

Он вошёл в комнату, поставил скрипку в угол, сел на кровать и долго смотрел в окно, за которым медленно гасло субботнее небо.

Вошла бабушка Зара, только что вернувшаяся из прачечной. Посмотрела на внука, на его счастливое, разрумянившееся лицо, на его глаза, которые сегодня почему-то светились, как два маленьких солнца.

— Что с тобой, мой цыганёнок? — спросила она тихо.

— Всё хорошо, бабушка, — ответил Николя. — Всё очень хорошо.

12. Первый концерт с оркестром.

Настала новая неделя. Понедельник начался не так, как обычно. Когда все музыканты собрались в актовом зале, Люсьен Бернар вышел на сцену с непривычно серьёзным лицом. Он оглядел зал, выдержал долгую паузу и сказал громко, чётко, по-военному:

— Коллеги, в эту пятницу у нас концерт. На главной площади. Для жителей города, для солдат, для всех, кто захочет прийти.

По залу пронёсся приглушённый гул. Кто-то одобрительно кивнул, кто-то забеспокоился, кто-то начал перешёптываться с соседом.

— Это не обычное выступление, — продолжал дирижёр, поднимая руку. — Это возможность напомнить людям, что жизнь продолжается. Что музыка жива. Что мы — живы.

Люсьен перевёл взгляд на Николя, который стоял в третьем ряду, прижимая к груди скрипку.

— Николя тоже примет участие в концерте, — объявил дирижёр. — Это его первое выступление с нами. И оно долж-

но быть грандиозным. Вы меня поняли?

Николя почувствовал, как кровь прилила к щекам. Все взгляды устремились на него — кто-то с любопытством, кто-то с одобрением, кто-то с лёгкой завистью. Даже Жерар, сидевший за роялем, на секунду поднял глаза и посмотрел на мальчика с каким-то новым, незнакомым выражением.

— Ты готов, Николя? — спросил Люсьен.

— Готов, — ответил мальчик, и голос его прозвучал твёрже, чем он сам ожидал.

— Вот и отлично. Тогда начинаем.

День за днём Николя репетировал с утра до вечера.

Он приходил в дом культуры раньше всех и уходил позже всех. Он играл свои партии снова и снова, добиваясь идеального звучания. Люсьен поправлял его, подсказывал, заставлял переигрывать. Пальцы Николя болели от напряжения, но он не сдавался.

— Ещё раз, — говорил дирижёр. — Чище, Николя. Ты можешь лучше.

И Николя мог. Он чувствовал это. Музыка перестала быть для него просто набором нот — она стала его голосом, его дыханием, его способом говорить с миром.

К среде он уже не боялся. Страх ушёл куда-то глубоко, спрятался в самый дальний уголок души, уступив место спокойной уверенности. Он знал, что выучил всё наизусть. Он знал, что его пальцы сделают нужные движения даже во сне. Он знал, что скрипка — это часть его самого.

— Ты готов? — спросил Луи в четверг вечером, когда они выходили из дома культуры.

— Готов, — улыбнулся Николя.

Настала пятница.

Николя проснулся от того, что кто-то поцеловал его в лоб. Он открыл глаза и увидел мать — Мари стояла над ним, ещё в своём кухонном фартуке, пахнущая супом и хлебом, но с каким-то особенным, праздничным выражением лица.

— С днём рождения, сынок, — сказала она тихо. — Тринадцать лет. Совсем взрослый.

Николя моргнул. Он совершенно забыл. Среди всех этих

репетиций, хозяйственных работ, новых друзей и переживаний он забыл, что пятница — это не только концерт. Это ещё и его день рождения.

— Спасибо, мама, — прошептал он.

Мать прижала его к себе, поцеловала в макушку и отошла к двери.

— Одевайся. Отец и бабушка тебя ждут.

Николя быстро умылся, оделся и вышел в большую комнату. За столом сидели отец и бабушка Зара. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла тарелка с несколькими кусочками хлеба, кружка молока — настоящего молока, которое отец, видимо, достал невесть где, — и маленький букетик первых полевых цветов, которые бабушка, наверное, собрала ещё на рассвете.

— С днём рождения, сын, — сказал отец, поднимаясь и кладя тяжёлую руку ему на плечо. — Я горжусь тобой. Ты стал мужчиной раньше, чем я ожидал. И я знаю — у тебя всё получится. Сегодня и всегда.

Николя сглотнул комок в горле.

— Будь счастлив, мой цыганёнок, — сказала бабушка Зара, подходя к нему и касаясь морщинистыми пальцами его щеки. — И пусть твоя музыка летит высоко, выше всех этих пуль и бомб. Пусть она лечит тех, кто страдает. Пусть она дарит надежду.

Она достала из кармана фартука маленький, завязанный узелком платочек, развернула его и протянула Николя старую медную монетку.

— Это на счастье, — сказала она. — Мне её моя бабушка дала. А теперь я тебе даю.

Николя взял монетку, сжал в кулаке и почувствовал, как тепло разливается по всему телу.

— Спасибо, — сказал он, глядя на каждого по очереди. — Спасибо вам за всё.

Мать подошла последней, обняла его и прошептала на ухо:

— С днём рождения, мой хороший. Сегодня твой день. И он будет прекрасным.

Он вышел из дома с лёгким сердцем. Скрипка висела за

спиной, солнце светило вовсю, птицы заливались на все голоса, и даже тяжёлые облака на горизонте казались не предвестниками бури, а просто красивыми пушистыми горами.

На площади уже собирались люди.

Это было большое, вымощенное булыжником пространство в центре города, окружённое старыми домами с выбитыми стёклами и следами от осколков. Но сегодня здесь царило оживление. Солдаты в потрёпанных шинелях, женщины в платках, дети, старики, торговки с тележками — все они пришли послушать музыку.

Оркестр выстроился на деревянных подмостках, которые соорудили прямо на площади. Николя занял своё место — в третьем ряду, среди струнных, но сегодня он чувствовал себя не маленькой незаметной деталью, а частью чего-то огромного и прекрасного.

Люсьен Бернар вышел вперёд, поднял руки, и площадь затихла.

— Дорогие друзья! — сказал он громко, так, чтобы слышали все. — Мы пришли, чтобы напомнить вам: жизнь продолжается. Даже в самые тёмные времена музыка остаётся с нами. Слушайте. Чувствуйте. Надейтесь.

Он взмахнул палочкой — и зазвучала музыка.

Николя играл, как никогда в жизни. Каждая нота ложилась точно в такт, каждый переход был чистым, каждое дыхание — вовремя. Он не думал о пальцах, не думал о смычке, не думал о нотах. Он просто играл. Играл для этих людей — измученных войной, голодных, уставших, но пришедших сюда, чтобы услышать что-то светлое.

Он играл для матери, которая в этот час, наверное, стояла у плиты в столовой и думала о нём. Он играл для отца, который, хромая, катал снаряды на заводе. Он играл для бабушки Зары, которая в прачечной отжимала чужое бельё и улыбалась своим мыслям.

Он играл для Марио — где бы тот ни был. Живой или мёртвый — память о нём жила в этой музыке.

Концерт прошёл на одном дыхании. Аплодисменты гремели долго, не смолкая. Люди кричали «браво!», свистели, хлопали, плакали. Солдаты сбрасывали пилотки в воздух, женщины вытирали слёзы кончиками платков, дети хлопали в ладоши, даже не понимая, что именно они празднуют — просто оттого, что вокруг было радостно и громко.

Николя опустил скрипку, вытер пот со лба и огляделся. Луи подмигнул ему из первого ряда. Пьер показал большой палец. Тома и Марк кивнули с уважением.

А Люсьен Бернар вдруг поднял руку, призывая публику к тишине.

— Дорогие друзья! — сказал он, и в голосе его зазвучала особая, торжественная теплота. — Позвольте мне сказать ещё кое-что. Сегодня у нашего молодого таланта, нашего скрипача Николя, день рождения. Ему исполнилось тринадцать лет.

Площадь взорвалась новыми аплодисментами. Кто-то крикнул «поздравляем!», кто-то засвистел, кто-то захлопал в ладоши ещё громче.

Николя почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он не ожидал. Он совсем не ожидал, что Люсьен объявит об этом здесь, при всех, после концерта.

— В честь этого, — продолжал дирижёр, поворачиваясь к оркестру, — мы сыграем для Николя. Все вместе. Для него.

Он поднял палочку, обвёл взглядом музыкантов и кивнул.

Зазвучала мелодия — старая французская песня о счастье и любви, которую знали все. Оркестр играл её не так безупречно, как концертную программу, — в ней были небольшие шероховатости, кто-то чуть опоздал, кто-то чуть сфальшивил, — но это было неважно. Важно было то, что они играли для него. Для Николя.

Он стоял на сцене, прижимая к груди скрипку, и смотрел на своих новых друзей. Луи дул в кларнет, стараясь изо всех сил. Пьер прикрыл глаза, отдавшись мелодии. Тома и Марк играли синхронно, как настоящие профессионалы. Даже виолончелист с морщинистым лицом кивал в такт и улыбался.

А потом Николя заметил Жерара.

Пианист сидел за роялем, поставленным прямо на подмостках. Его длинные тонкие пальцы бегали по клавишам, извлекая чистые, прозрачные звуки. Но не это удивило Николя. Он увидел, что Жерар… улыбается.

Не кривит губы в презрительной усмешке. Не смотрит исподлобья. Не отворачивается с надменным видом. Он улыбался — искренне, открыто, впервые за всё время, что Николя его знал. Его бледное морщинистое лицо словно осветилось изнутри, и глаза, которые всегда казались холодными и колючими, вдруг стали тёплыми, почти добрыми.

Николя не поверил своим глазам. Он моргнул — но улыбка никуда не делась. Жерар смотрел прямо на него, играл и улыбался. И в этой улыбке не было ни гнева, ни презрения, ни высокомерия. Только музыка. Только чистая, неподдельная радость от того, что этот мальчишка, этот маленький цыган, которого он выгнал несколько недель назад, сегодня стоял на сцене и играл так, что зал плакал.

Когда мелодия закончилась, площадь снова взорвалась аплодисментами. Люсьен повернулся к Николя и громко, чтобы слышали все, сказал:

— С днём рождения, Николя. Ты — наша гордость.

Кто-то из музыкантов подошёл пожать ему руку, кто-то хлопнул по плечу, кто-то просто улыбнулся. Луи обнял его по-дружески, чуть не свалив с ног.

— С днём рождения, наш музыкальный брат, — сказал он.

А Николя стоял посреди этой площади, среди этих людей, под этим весенним небом, и чувствовал, что сердце его сейчас разорвётся от счастья.

Он поднял глаза к небу и мысленно поблагодарил бабушку Зару за её песни, мать — за её любовь, отца — за его веру. И Марио — за то, что тот научил его не сдаваться.

Музыка закончилась. Но что-то только начиналось. Что-то большое, светлое, настоящее.

Николя вытер слезинку, скатившуюся по щеке, и улыбнулся.

Когда последние аплодисменты отгремели и площадь начала понемногу пустеть, оркестр собрал инструменты и двинулся обратно в дом культуры. Николя шёл в окружении своих новых друзей, всё ещё не веря до конца, что этот день — концерт, поздравления, улыбка Жерара — всё это происходило наяву, а не во сне.

В доме культуры царила непривычная для буднего дня тишина. Кто-то из музыкантов уже разошёлся по домам, кто-то задержался в коридоре, переговариваясь вполголоса. Николя направился было к выходу, но его остановил голос Люсьена Бернара:

— Николя, подожди минутку.

Мальчик обернулся. Дирижёр подошёл к нему, пряча ру-

ки за спиной, и на лице его играла загадочная, чуть лукавая улыбка.

— Закрой глаза, — сказал Люсьен.

Николя удивился, но послушно закрыл. Он слышал, как вокруг зашуршали, зашептались — кто-то тихонько охнул, кто-то прошептал «давай, давай». Потом дирижёр взял его за руку и вложил в ладонь что-то маленькое, мягкое, рассыпчатое.

— Открывай, — разрешил Люсьен.

Николя открыл глаза и посмотрел на свою руку. На ладони лежал небольшой кусочек сладкого бисквита — такого, какой он не пробовал с довоенных времён. Светлый, с золотистой корочкой, присыпанный крошкой, он пах ванилью и ещё чем-то далёким, забытым, счастливым.

— Это вам, — сказал Люсьен мягко. С днём рождения.

Николя сжал кусочек в пальцах, чувствуя, как от тепла его рук бисквит становится ещё мягче.

— Спасибо, — прошептал он, не в силах вымолвить больше ни слова.

Он оглянулся на своих друзей. Луи, Пьер, Тома и Марк стояли рядом, смотрели на него с улыбками и явно не собирались уходить.

Николя протянул руку вперёд, разжимая пальцы.

— Давайте поделим, — сказал он просто. — Нас пятеро. Можно разломить.

Луи отрицательно покачал головой, и его улыбка стала чуть шире.

— Нет, Николя, — сказал он твёрдо. — Это твой праздник. Сегодня твой день рождения, и ты заслужил этот бисквит больше, чем кто-либо из нас.

— Но вы же мои друзья, — растерянно возразил Николя. — Я не могу один…

— Можешь, — перебил его Пьер. — И это правильно. Наша очередь наступит, когда у кого-то из нас будет день рождения. Тогда и ты нас угостишь. Идёт?

Николя посмотрел на Тома и Марка. Оба кивнули, соглашаясь с Луи и Пьером. Даже Марк, который вечно жаловал-

ся на голод, сегодня почему-то не претендовал на чужой кусочек.

— Идёт, — сказал наконец Николя, чувствуя, как тепло разливается по всему телу — тепло не от бисквита, а от того, что рядом с ним оказались такие люди.

Он убрал сладкий подарок в карман куртки, бережно, словно это было самое дорогое сокровище, и вышел на улицу. Ребята разошлись по домам, махая ему на прощание, а Николя побрёл к себе, всё ещё сжимая в кармане драгоценный кусочек.

Дома было тихо.

Отец ещё не вернулся с завода, мать, должно быть, задержалась в столовой, а бабушка Зара сидела на своей кровати, перебирая старые лоскуты ткани. Она подняла голову, когда внук вошёл, и сразу заметила что-то особенное в его лице.

— Ты сегодня счастлив, мой цыганёнок, — сказала она не вопросом, а утверждением.

— Да, бабушка, — ответил Николя, подходя к ней. — Очень счастлив.

Он сел на край её кровати, помолчал немного, а потом вытащил из кармана бисквит. Бабушка Зара посмотрела на сладкий кусочек своими чёрными глазами, и в них что-то дрогнуло.

— Это тебе дали? — спросила она тихо.

— Да, — кивнул Николя. — За концерт. В честь дня рождения.

Он аккуратно разломил бисквит на четыре неровные части — побольше для отца с матерью, поменьше для себя и бабушки. Крошки, которые посыпались на колени, он собрал на ладонь, чтобы никто не пропал.

Вскоре пришла мать — уставшая, с красными от горячей воды руками, пахнущая кухней и чесноком. Следом, хромая сильнее обычного, появился отец. Он, видимо, сегодня переработал, и нога болела сильнее, чем обычно, но он не жаловался.

— Садитесь, — сказал Николя, указывая на стол.

Семья собралась вокруг старого деревянного стола. Николя разложил кусочки бисквита перед каждым. Мать ахнула, увидев сладость. Отец поднял бровь и посмотрел на сына с

удивлением и гордостью.

— Ты принёс это домой? — спросил он. — Мог бы сам съесть. Твой день рождения.

— Не мог, — ответил Николя твёрдо. — Мы одна семья. Всё делим поровну.

Бабушка Зара тихонько всхлипнула, но тут же смахнула слезу и улыбнулась.

— Вырастили мы тебя, — сказала она отцу Николя. — Вырастили хорошего человека.

Отец молчал, но его рука, лежавшая на столе, слегка дрожала.

— С днём рождения, сын, — сказал он наконец. — Ещё раз. Ты делаешь нас счастливыми. Каждый день. И сегодня — особенно.

Мать, не говоря ни слова, встала, обошла стол, обняла Николя и поцеловала в макушку. Потом они съели бисквит — маленькими кусочками, долго жуя, стараясь продлить удовольствие. Крошки, упавшие на стол, мать собрала дрожащими пальцами и тоже отправила в рот, улыбаясь сквозь слё-

зы.

— Спасибо, сынок, — прошептала она. — Спасибо.

В тот вечер Николя лёг спать с чувством, что сегодня он сделал что-то очень важное. Не концерт. Не игру на скрипке. А то, что поделился — с друзьями, с семьёй, с теми, кто был ему дорог.

Он закрыл глаза и подумал о том, что взросление — это не когда тебе исполняется тринадцать. А когда ты понимаешь: счастье умножается, если разделить его с другими.

За стеной бабушка Зара тихо запела свою вечную колыбельную, и под эту песню Николя провалился в глубокий, спокойный сон.

13. Жерар – друг?

Весна пролетала быстро. Дни становились длиннее, солнце — теплее, а воздух — гуще и слаще от распускающейся листвы. Николя каждый утро бежал в дом культуры и каждый вечер возвращался домой с лёгким сердцем. Репетиции шли одна за другой, хозяйственные работы постепенно превращали обшарпанные комнаты в уютные уголки, а дружба с Луи, Пьером, Тома и Марком крепла с каждым днём.

Но не только в доме культуры происходили перемены.

Дела в Париже становились лучше с каждым днём. Налётов становилось всё меньше — сначала люди боялись в это верить, боялись сглазить, но неделя шла за неделей, и сирены воздушной тревоги звучали всё реже. По ночам больше не содрогались стёкла, и дети спали спокойно, не просыпаясь от грохота разрывов. Люди на улицах стали оживлённее: они разговаривали громче, улыбались чаще, иногда даже смеялись — по-настоящему, без оглядки, как до войны.

Николя замечал эти перемены, но всё его внимание было поглощено музыкой и новыми друзьями. Он репетировал до седьмого пота, делал хозяйственные работы — красил рамы, мыл полы, сажал цветы на клумбах перед домом культуры, — а иногда, вечером или по выходным, убегал с ребятами на пустырь за кирпичным заводом. Они играли в футбол, лазали по деревьям, спорили о музыке и мечтали о том, что будут делать, когда война наконец закончится.

— Я куплю новый кларнет, — говорил Луи, развалившись на траве. — Серебряный, с золотыми клапанами.

— А я — аккордеон, — мечтал Пьер. — Чтобы на всех праздниках играть.

— А я просто хочу, чтобы никто больше не умирал, — тихо сказал однажды Тома, и все замолчали, потому что это было важнее любых инструментов.

Однажды после рабочего дня в доме культуры, когда все уже разошлись по домам и даже Люсьен Бернар ушёл, пожелав всем спокойной ночи, Николя задержался в актовом зале. Он хотел ещё немного по репетировать — один, в тишине, чтобы никто не мешал. В зале горел только один тусклый светильник, и скрипка в его желтоватом свете казалась тёплой, почти живой.

Он уже подносил смычок к струнам, когда услышал шаги.

Николя обернулся и увидел Жерара.

Пианист стоял в дверях, чуть сгорбившись, заложив свои длинные тонкие пальцы за спину. Он смотрел на Николя странно — не так, как раньше. В его взгляде не было ни гнева, ни презрения, ни той холодной отчуждённости, которая обычно окутывала его, как плащ.

— Николя, — сказал Жерар. Голос его звучал непривычно — мягче, тише, словно он боялся спугнуть мальчика. — Ты не ушёл ещё?

— Нет, — ответил Николя, опуская скрипку. — Я хотел ещё немного поиграть.

Жерар кивнул, сделал несколько шагов вперёд и остановился возле рояля. Его длинные пальцы легли на крышку инструмента, погладили полированное дерево почти ласково, как гладят любимое живое существо.

— Послушай, — сказал он после паузы. — Я хочу тебя кое-что спросить.

Николя замер. Он не знал, чего ожидать. Может быть, Жерар снова скажет что-то обидное. Может быть, пришёл жаловаться на него Люсьену. Может быть…

— Ты когда-нибудь пробовал играть на пианино? — спросил пианист, и его бледное морщинистое лицо вдруг показалось Николя почти беззащитным.

Николя растерялся.

— Нет, — ответил он честно. — Никогда. У нас дома нет пианино, и раньше… раньше было не до того.

Жерар кивнул, как будто ожидал такого ответа. Он помолчал несколько секунд, потом сказал, глядя куда-то в сторону:

— Ты хочешь научиться?

Николя сглотнул. Вопрос был неожиданным. Он никогда не думал о пианино — вся его жизнь была скрипка, скрипка и только скрипка. Но сейчас, глядя на этот чёрный, массивный рояль, на бледные пальцы Жерара, которые так умело бегали по клавишам на репетициях, он почувствовал, как внутри просыпается любопытство.

— Хочу, — сказал он твёрдо. — Хочу научиться. Если вы будете меня учить.

Жерар медленно поднял на него глаза. В них мелькнуло что-то похожее на удивление, смешанное с облегчением — словно он боялся услышать отказ.

— Буду, — сказал пианист просто. — Буду учить.

Он сел на вращающийся стул перед роялем, откинул крышку и положил пальцы на клавиши. Но не заиграл. Он сидел, глядя на свои руки, и молчал так долго, что Николя уже начал беспокоиться.

— Знаешь, Николя, — заговорил наконец Жерар, и голос его дрогнул, — я был неправ.

Николя не верил своим ушам.

— Я был неправ, — повторил пианист, всё ещё глядя на клавиши. — В тот день. Когда сказал тебе, что цыганам не место в оркестре. Я… — он запнулся, словно каждое слово давалось ему с трудом, — я сам не знаю, что на меня нашло. Наверное, глупая гордость. Или злость. Или просто старая обида на весь мир, которую я выместил на тебе.

Он поднял глаза и посмотрел на Николя — впервые без тени высокомерия, без той холодной маски, которую носил всю жизнь.

— Ты очень талантливый мальчик, — сказал Жерар. — Я сразу это понял. Ещё тогда, когда ты играл на площади для раненых. Я стоял и слышал. И мне стало стыдно. Но я не умею извиняться. Никогда не умел.

Николя молчал. В горле стоял ком, и он боялся, что если откроет рот, то расплачется.

— А теперь, — продолжал Жерар, и уголки его губ чуть приподнялись в неловкой, почти детской улыбке, — я хочу тебя кое-чему научить. Не потому, что я добрый. Я не добрый. Я старый, хмурый, вредный пианист, которого никто не

любит. Но ты… ты можешь стать лучше. Ты можешь играть не только на скрипке. Ты можешь играть на чём угодно. Я это чувствую.

Он похлопал ладонью по клавишам.

— Садись.

Николя подошёл, осторожно поставил скрипку на стул и сел рядом с Жераром на край вращающегося стула. Рояль перед ним казался огромным — чёрный, блестящий, с белыми и чёрными зубами клавиш, как у какого-то невиданного зверя.

— Не бойся, — сказал Жерар. — Он не кусается. Положи руки вот так.

Его тонкие длинные пальцы легли поверх рук Николя, направляя их на нужные клавиши. И Николя вдруг почувствовал, что эти руки — такие бледные, морщинистые, с длинными суставами — на самом деле тёплые. Очень тёплые.

— А теперь нажми, — сказал Жерар.

Николя нажал. Из рояля вырвался чистый, глубокий звук, совсем не похожий на звук скрипки — полнее, насыщеннее,

словно сам воздух вокруг запел.

— Ещё раз, — сказал пианист.

Николя нажал снова. И ещё. И ещё. Пальцы его, привыкшие к тонким струнам скрипки, неуклюже топтались по клавишам, но с каждым разом двигались всё увереннее.

Жерар молчал, только иногда поправлял его, подсказывал, показывал сам. И в этом молчании, в этих редких словах, в этом неловком, но искреннем внимании Николя вдруг увидел совсем другого человека.

Не того высокомерного пианиста, который выгнал его вон.

Не того злого старика, который смотрел на него с презрением.

А просто — одинокого человека. Уставшего. Обиженного на жизнь. Который так долго носил в себе злость, что забыл, как это — быть добрым. Но который всё равно, где-то глубоко внутри, хотел научить этого мальчика музыке. Потому что музыка была единственным, что он умел дарить.

— У тебя хороший слух, — буркнул Жерар, отодвигаясь. — Пальцы пока неуклюжие, но это придёт. Скрипка тебе в

этом поможет.

Николя кивнул, всё ещё глядя на клавиши.

— Спасибо, — сказал он тихо. — Спасибо вам, месье Жерар.

— Не называй меня «месье», — проворчал пианист, но в голосе его не было злости. — Зови просто Жерар. Или «эй ты, старый пианист». Мне всё равно.

Он встал, взял свой потрёпанный портфель и направился к двери. На пороге он остановился, не оборачиваясь.

— Приходи завтра, — сказал он. — После репетиции. Продолжим.

И вышел.

Николя остался один в полумраке зала. Рояль перед ним всё ещё хранил тепло пальцев Жерара. Он осторожно провёл рукой по клавишам — от самого низа до самого верха, — и инструмент отозвался каскадом звуков, громких, радостных, как весна.

Николя улыбнулся и пошёл домой, чувствуя, что сегодня

в его жизни снова что-то изменилось. И это «что-то» было очень, очень хорошим.

14. Лето Николя.

Всё лето пролетело как один долгий, тёплый, наполненный музыкой и смехом день.

Репетиции шли своим чередом — Люсьен Бернар оставался строг и требователен, но даже он иногда позволял себе улыбнуться, когда оркестр играл особенно слаженно. Концерты стали почти еженедельными: они выступали на площади, в госпиталях для раненых, в воинских частях, а однажды даже в маленькой деревушке в двадцати километрах от города. Люди везде встречали их одинаково — с благодарностью, со слезами на глазах и с надеждой, которая с каждым днём становилась всё крепче.

Николя играл на скрипке с такой лёгкостью, будто родился с ней в руках. Но были у него и другие занятия.

После репетиций, когда все расходились, он оставался в актовом зале. Рядом с ним неизменно оказывался Жерар. Старый пианист садился на свой вращающийся стул, жестом приглашая Николя к роялю, и начинались уроки.

Со временем Николя научился базово играть на пианино. Пальцы его, поначалу такие неуклюжие на клавишах, постепенно обрели лёгкость и уверенность. Он уже не смотрел на каждую клавишу перед тем, как нажать, — пальцы сами знали, куда идти. Конечно, до мастерства Жерара ему было далеко, но он мог сыграть несколько несложных мелодий без ошибок и даже без нот.

— Неплохо, — бурчал Жерар после очередного урока. — Для скрипача — даже очень неплохо. Но тебе нужно больше практики.

— А вы будете меня учить дальше? — спрашивал Николя.

— А ты будешь приходить? — отвечал вопросом пианист.

— Буду.

— Тогда буду.

Они не только играли. Иногда, после уроков, когда за окном уже темнело и в зале зажигали единственный тусклый светильник, они просто разговаривали. Николя рассказывал о матери-кухарке, об отце-хромоногом, который день и ночь пакует снаряды на заводе, о бабушке Заре, которая поёт по ночам на цыганском. А Жерар… Жерар впервые в жизни го-

ворил о себе.

— Я рос без отца, — сказал он однажды, глядя на свои длинные тонкие пальцы, лежащие на клавишах. — Мать работала на фабрике. Целыми днями меня не было. Я ходил в музыкальную школу, потому что там кормили. А потом оказалось, что у меня талант.

Он усмехнулся — горько, с надрывом.

— Талант. Это смешное слово. Из-за него я всю жизнь был один. Потому что все вокруг казались мне бездарями. Я никого не считал за равных. И в итоге остался совсем один. Ни семьи, ни друзей. Только рояль.

Николя слушал молча. Он не знал, что сказать. Он вообще не думал, что у Жерара может быть такая жизнь — пустая и холодная, как заброшенный дом.

— А теперь, — продолжал пианист, и в голосе его вдруг проскользнула какая-то детская, почти наивная нотка, — появился ты. Цыганёнок, которого я выгнал. Играешь на скрипке так, что у меня сердце болит. И почему-то не боишься меня. И даже разговариваешь.

— Вы не страшный, — тихо сказал Николя. — Вы про-

сто… несчастливый.

Жерар долго молчал. Потом кивнул — один раз, резко, и сказал:

— Иди уже домой. Завтра репетиция.

Но Николя видел, как дрогнули его губы. И понял, что с этой минуты они стали не просто учителем и учеником. Они стали почти друзьями.

А лето шло своим чередом.

Выходные и свободные вечера Николя проводил с Луи, Пьером, Тома и Марком. Они уже давно перестали быть просто коллегами по оркестру — они стали настоящей компанией, неразлучной и шумной.

Они ходили купаться на маленькое озеро в лесу. Вода там была тёмной, торфяной, но прохладной и удивительно приятной в июльскую жару. Ребята ныряли с веток нависшей над водой ивы, брызгались, гонялись друг за другом, а потом выбирались на берег, падали в высокую траву и лежали, глядя в небо, пока солнечные лучи не начинали золотить их лица.

— А ты хорошо плаваешь, Николя, — сказал однажды

Луи, вытирая мокрые волосы рубашкой.

— Бабушка научила, — ответил Николя. — Ещё до войны. Мы жили возле реки.

— А ты расскажи ещё о своей бабушке, — попросил Пьер.

И Николя рассказывал. О том, как бабушка Зара ворожила на картах, как пела старые цыганские песни, как однажды остановила кровь у соседского мальчика просто причитаниями. Ребята слушали с открытыми ртами, хотя ни один из них не верил в магию.

Они делали детские шалости — типичные для мальчишек их возраста. Однажды подложили в сапоги Жерару лягушку. Старый пианист взвизгнул, выругался, погнался за ними с метлой — но потом, когда они вернулись, он уже сидел за роялем и только тихо ворчал: «Молодёжь… разбойники… никакого уважения к старости». Николя заметил, что уголки его губ подрагивали в невольной улыбке.

В другой раз они нарисовали мелом на заборе дома культуры огромные ноты и смешные рожицы. Элоиза Дюваль, увидев это утром, всплеснула руками и велела всё отмыть. Но делала она это беззлобно, почти смеясь, и ребята поняли, что она тоже когда-то была такой же — шумной, весёлой,

беззаботной.

А ещё они много разговаривали. Не о музыкальных инструментах, не о нотах, не о репетициях. О жизни. О том, как закончится война. О том, кем они станут, когда вырастут.

— Я стану знаменитым кларнетистом, — говорил Луи. — Буду объезжать весь мир с концертами.

— А я открою свою мастерскую по ремонту музыкальных инструментов, — мечтал Пьер. — Буду чинить скрипки, кларнеты, всё подряд.

— А я хочу тишины, — сказал однажды Тома. — Просто тишины. Чтобы никаких взрывов, никаких тревог. Чтобы можно было сидеть вечером на крыльце и смотреть на звёзды.

Все замолчали, потому что каждый понял, о чём он говорит.

— А ты, Николя? — спросил Марк. — Чего ты хочешь?

Николя подумал. Долго, серьёзно, глядя на закатное солнце, которое медленно опускалось за верхушки деревьев.

— Я хочу, чтобы моя семья была жива и здорова, — сказал он наконец. — Чтобы папа перестал хромать. Чтобы мама не уставала. Чтобы бабушка пела свои песни ещё много лет.

— А для себя? — настаивал Луи.

— А для себя… — Николя улыбнулся, — я хочу играть так, чтобы люди плакали от счастья. Не от боли. А от счастья. Потому что тогда я буду знать, что делаю всё правильно.

15. Прощай, Тома.

Изменилось не только лето. Изменилось многое вокруг. Отец Николя, Клод, стал возвращаться с работы менее уставшим. Снарядов производили всё меньше — война понемногу отступала, заводы переходили на другой режим работы, и хромоногому упаковщику больше не приходилось работать по двенадцать-четырнадцать часов в сутки без выходных.

— Хорошие времена приходят, сынок, — сказал он однажды вечером, сидя на крыльце и глядя на тёмное небо, где уже не рвались снаряды и не гудели бомбардировщики. — Чувствую, конец войне скоро.

— Ты думаешь, папа? — спросил Николя, садясь рядом.

— Уверен, — ответил отец. — И тогда… тогда ты, может быть, поедешь учиться. В консерваторию. Там такие оркестры, такие музыканты… тебе понравится.

Николя ничего не ответил. Он просто положил голову на плечо отцу, как в детстве, и смотрел на звёзды. Их было сегодня удивительно много, ярких, крупных, будто кто-то рассыпал по небу горсть бриллиантов.

Война ещё не кончилась. Но конец её уже чувствовался в воздухе — как запах первых полевых цветов после долгой зимы. И Николя вдруг подумал, что, может быть, когда-нибудь он будет вспоминать это лето — не как военное, а как самое счастливое в своей жизни.

Лето, когда он научился играть на пианино. Лето, когда он подружился со старым хмурым Жераром. Лето, когда он купался в озере, шалил на заборе и говорил с друзьями о звёздах.

Лето, когда он просто был ребёнком.

Последние дни лета стояли тёплые, ласковые, будто само небо прощалось с ребятами и дарило им напоследок всё своё золото.

Солнце уже не пекло так безжалостно, как в середине июля, но ещё щедро одаривало землю светом. Листья на деревьях только начинали желтеть по краям, трава ещё была зелёной и мягкой, а вода в озере — прохладной, но не ледяной. Воздух пах яблоками, мёдом и чем-то ещё сладким, ускользающим, что бывает только в августе, когда лето уже почти ушло, но не хочет сдаваться.

В тот день они собрались на хуторе, как обычно. Луи принёс краюху хлеба, Пьер — банку компота, Марк — старое одеяло, чтобы сидеть на траве. Николя прихватил скрипку — на всякий случай, вдруг захочется сыграть.

Они расстелили одеяло на полянке возле старого дуба, бросили на него свои нехитрые припасы и разлеглись кто как. Солнце припекало щёки, лёгкий ветерок шевелил волосы, и всё вокруг казалось таким мирным, таким правильным, что не верилось, что где-то ещё продолжается война.

Но вскоре все заметили, что с Тома что-то не так.

Он сидел в стороне от всех, поджав колени к подбородку, и смотрел в землю. Его губы были плотно сжаты, брови сдвинуты, а в глазах, обычно спокойных и серьёзных, плескалось что-то тёмное, невысказанное, тяжёлое.

— Тома, — позвал Луи, приподнимаясь на локте. — Ты чего молчишь? Иди к нам.

Тома не ответил.

Пьер переглянулся с Марком. Николя почувствовал, как внутри у него зашевелилось нехорошее предчувствие.

— Тома, — позвал он тихо. — Что случилось?

Тома поднял голову. И все увидели его глаза — красные, припухшие, со следами ещё не высохших слёз. В них была такая боль, что Николя вдруг забыл, как дышать.

— Ребята… — начал Тома, и голос его сорвался. Он замолчал, сглотнул, попробовал снова. — Ребята, я… мы переезжаем.

Тишина упала на поляну, как тяжёлое покрывало.

— Как переезжаете? — не понял Луи. — Куда?

— Не знаю, — выдохнул Тома, и в голосе его прозвучало такое отчаяние, что у всех сжались сердца. — Родители не говорят. Только сказали, что завтра утром поезд. Велели со-

бирать вещи. Мы… мы уезжаем насовсем.

Он не выдержал. Лицо его сморщилось, плечи затряслись, и Тома разрыдался — громко, навзрыд, не стесняясь слёз, как маленький. Он закрыл лицо руками и плакал, вздрагивая всем телом, а его друзья сидели вокруг и не знали, что сказать.

Луи опустил голову. Пьер смотрел куда-то в небо, закусив губу. Марк сжимал и разжимал кулаки, словно пытался удержать что-то, что ускользало сквозь пальцы.

В их глазах была видна глубокая, щемящая грусть — словно внутри каждого медленно тухнул уголёк, остывал, превращался в серый пепел. Они столько пережили вместе: репетиции, концерты, хозяйственные работы, игры на пустыре, купание в озере. Они стали не просто приятелями — они стали братьями. И вот теперь один из них уезжал. Завтра. Насовсем.

Николя сидел неподвижно. Он чувствовал, как к горлу подкатывает горячий ком, как глаза начинает щипать, как предательски дрожит подбородок. Ему хотелось разрыдаться вместе с Тома, упасть на траву и закричать от несправедливости. Война, которая отняла у него друга Марио, теперь отнимала ещё одного друга.

Но он сдержался.

Он сжал зубы, сделал глубокий вдох, выдох. Потом ещё один. И ещё. Слёзы обжигали глаза изнутри, но Николя не позволил им пролиться.

— Тома, — сказал он, и голос его прозвучал твёрже, чем он сам ожидал. — Послушай меня.

Тома поднял на него заплаканное лицо.

— Это не конец, — сказал Николя. — Слышишь? Не конец нашей дружбе.

Все посмотрели на него. Даже Луи, который обычно всегда находил нужные слова, сейчас молчал и слушал.

— Мы будем писать письма, — продолжал Николя, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Каждую неделю. Или даже чаще. Ты будешь писать нам, куда бы ты ни уехал. А мы будем писать тебе. Про репетиции, про концерты, про то, как Жерар опять ругается. И про то, как мы скучаем.

Он сглотнул, прогоняя колючий ком из горла.

— И мы постараемся встретиться. Обязательно. Когда закончится война — а она скоро закончится, я чувствую, — мы найдём способ. Соберёмся все вместе. На этом же хуторе. У этого же дуба. И будем вспоминать, какими мы были глупыми мальчишками.

Тома смотрел на него, и в его глазах, сквозь слёзы, начинали загораться маленькие искорки — слабые, но живые.

— Обещаешь? — прошептал он.

— Обещаю, — твёрдо ответил Николя.

Луи вдруг вскочил на ноги.

— И я обещаю! — сказал он громко, почти выкрикнул. — Клянусь кларнетом, что мы встретимся!

— И я! — Пьер тоже поднялся. — Клянусь своим веснушчатым носом, если надо!

— И я, — сказал Марк, вставая и кладя руку на плечо Тома. — Ты наш друг. Навсегда.

Николя поднялся последним. Он подошёл к Тома и протянул ему руку.

Тома посмотрел на ладонь друга, потом поднял глаза — и вдруг, вместо того чтобы пожать руку, шагнул вперёд и обнял Николя. Крепко, по-братски, уткнувшись лицом ему в плечо.

Луи обнял их обоих. Пьер — всех троих. Марк — всех четверых. Они стояли тесным кольцом посреди летней поляны, обнявшись, и каждый чувствовал, как бьётся сердце другого. Грустное, но живое. Опечаленное, но верящее.

— Клянёмся в вечной дружбе, — сказал Луи тихо, но торжественно.

— Клянёмся, — повторили остальные.

Они стояли так долго — минуту, две, пять. Ветерок шевелил их волосы, солнце гладило по спинам, а старый дуб шумел листвой, словно благословлял их клятву.

Потом они сели на одеяло, и Тома, уже успокоившийся, вытер слёзы рукавом. Никто больше не плакал. Грусть осталась — глубокая, щемящая, настоящая, — но в ней уже не было отчаяния. В ней была надежда.

— Я буду писать вам приключения, — сказал Тома, шмы-

гая носом. — Про то, где я окажусь. Про новых людей. Про новые места.

— А мы будем писать тебе про Жерара и его лягушку, — усмехнулся Пьер.

— Про лягушку не надо, — буркнул Тома, но в глазах его мелькнула тень улыбки.

Они просидели до самого вечера. Говорили о том, о сём — как будто боялись замолчать, потому что в тишине снова могло нахлынуть. Шутили, вспоминали смешные случаи, рассказывали о планах на будущее, в котором они обязательно встретятся. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, раскрасив небо в кроваво-красные цвета, они собрались.

— Завтра проводить не надо, — сказал Тома, глядя в землю. — Я не выдержу. Лучше… лучше попрощаемся сейчас.

Они снова обнялись — тихо, без лишних слов, без громких клятв, просто чувствуя тепло друг друга.

— Помни, Тома, — сказал Николя на прощание. — Пока мы помним друг друга, мы вместе. Где бы ты ни был.

Тома кивнул, развернулся и пошёл прочь, не оглядываясь.

Может быть, потому что боялся снова расплакаться. А может, потому что знал: они обязательно встретятся. Снова. У старого дуба. Когда закончится война.

Солнце медленно садилось, окрашивая небо в густые малиновые и лиловые тона. Старый дуб отбрасывал длинные тени на пожухлую траву, и воздух стал прозрачным, звенящим, как натянутая струна.

Ребята разошлись кто куда: Пьер ушёл первым, сославшись на помощь матери по хозяйству. Марк отправился следом, насвистывая какой-то весёлый мотивчик. Тома ушёл последним — он всё ещё шмыгал носом, но уже улыбался, когда Луи хлопнул его напоследок по плечу.

На поляне остались только двое: Николя и Луи.

Николя сидел на одеяле, поджав ноги, и смотрел на закат. Луи лежал рядом на спине, заложив руки за голову, и глядел в небо. В кузнечиках стрекотали, где-то далеко лаяла собака, и ветер доносил запах увядающих трав и прелой листвы.

— Красиво, — сказал Николя тихо, не нарушая тишину, а скорее вплетаясь в неё.

Луи не ответил. Он лежал неподвижно, и его обычно весё-

лое, озорное лицо сейчас было непривычно серьёзным, почти суровым. Карие глаза смотрели куда-то вдаль — поверх деревьев, поверх полей, поверх всего мира, туда, где небо смыкалось с землёй.

Николя покосился на друга. Ему показалось, что Луи сейчас очень далеко — не здесь, на этой траве, а где-то в другом месте, которое Николя не видел и не понимал.

— Луи, — позвал он осторожно. — Ты чего молчишь?

Луи не ответил. Только вздохнул глубоко, всей грудью, и сжал пальцы в кулаки.

Тишина затянулась. Николя уже хотел спросить снова, как вдруг Луи резко сел, отряхнул с рубашки сухие травинки и уставился прямо перед собой.

— Завидно мне тебе, Николя, — сказал он вдруг, и голос его прозвучал глухо, непривычно низко.

Николя опешил.

— Завидно? Мне? С чего?

Луи повернул голову и посмотрел на него долгим, тяжё-

лым взглядом. В его карих глазах горело что-то, чего Николя никогда там не видел: боль, смешанная с горечью, и какая-то детская, почти жалкая обида.

— У тебя семья дружная, — сказал Луи, и каждое слово давалось ему с трудом, будто он выталкивал их из себя через силу. — Твоя мать… она тебя любит, это видно. Отец тобой гордится. Бабушка тебя на руках носит. Вы вместе сидите за столом, говорите, шутите, обнимаетесь. А у меня…

Он замолчал, сжал губы, отвернулся. Его светлые, чуть грязноватые волосы упали на лоб, и он их нервно откинул назад.

— Луи, — тихо сказал Николя, чувствуя, как внутри у него всё холодеет. — Что у тебя дома? Ты никогда не рассказывал.

Луи горько усмехнулся. Не весёлой, своей обычной усмешкой, а какой-то чужой, ломаной, как будто он примерял на себя незнакомую маску.

— Отец у меня… — начал он и запнулся. Помолчал, собираясь с мыслями. — Отец у меня очень строгий человек. Строгий — это мягко сказано. Он военный, ты знаешь. Высокий чин. Привык, чтобы его слушались, чтобы всё было по

команде, по расписанию, по уставу.

Николя слушал, затаив дыхание.

— Я не могу сделать шаг без его разрешения, — продолжал Луи, и голос его становился всё тише, словно он боялся, что кто-то услышит, даже здесь, в этой пустой поляне. — Опоздал на пять минут — крик на весь дом. Получил четвёрку, а не пятёрку — вечером допрос: почему не пятёрка, кто виноват, что ты за бездарь. Если я смеюсь слишком громко — он говорит, что смех глупого человека выдаёт его глупость.

Николя сглотнул. Он никогда не бывал в доме Луи, но сейчас, слушая эти слова, он представил его отца — высокого, подтянутого, в начищенных сапогах, с ледяными глазами, в которых нет места ни теплу, ни прощению.

— А мать? — спросил он осторожно.

Луи поморщился, как от зубной боли.

— Мать… она высокомерна. Другого слова не подберу. Она считает себя выше всех — выше соседей, выше моих друзей, выше меня. Я для неё не сын, а какое-то украшение, которое должно выглядеть идеально. Волосы причёса-

ны, одежда выглажена, улыбка на лице, чтобы все видели, какая у нас образцовая семья.

Он сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки.

— Она почти не разговаривает со мной, — выдохнул Луи. — Нормально, по-человечески. Только приказы: «сделай то», «не позорь отца», «что о нас подумают». Я для них не живой человек. Я — функция.

Николя молчал. В горле стоял ком — не от жалости, а от несправедливости. Луи, который всегда был таким весёлым, таким громким, таким надёжным, носил в себе эту боль? Все эти месяцы? И никто не знал?

— А бабушка с дедушкой? — спросил он тихо.

— Нет у меня бабушки с дедушкой, — усмехнулся Луи, и в усмешке этой слышалась такая пустота, что Николя захотелось обнять друга прямо сейчас, не спрашивая разрешения. — Умерли давно. Я их почти не помню. Только фотографии в альбоме, которые мать листает раз в год с таким лицом, будто выполняет неприятную обязанность.

Он замолчал. Солнце почти скрылось за горизонтом, оставив только узкую полоску золота на самой кромке неба. Звёз-

ды проступали всё ярче, и первая из них — Вечерняя звезда — горела над самым лесом.

— Знаешь, о чём я мечтаю? — сказал Луи вдруг, и в голосе его проскользнула нотка надежды — слабая, хрупкая, но живая. — Я хочу поскорее уехать учиться. Уехать далеко, где меня никто не знает. Поступить в консерваторию, снять маленькую комнату, самому готовить себе завтрак, самому решать, когда мне ложиться спать и с кем дружить.

Он повернулся к Николя, и в его глазах блеснули слёзы — непролитые, затаённые, упрямые.

— Жить самостоятельно. Ни перед кем не отчитываться. Никого не бояться. Понимаешь?

— Понимаю, — тихо ответил Николя. И правда понимал. Потому что сам мечтал о чём-то похожем — о свободе, о своей жизни, о праве выбирать.

Он помолчал немного, собираясь с мыслями, потом заговорил:

— Послушай меня, Луи. Я не знаю твоего отца. Я не знаю твою мать. Я не живу в твоём доме и не слышу того, что слышишь ты каждый день. Но я знаю одно.

Луи поднял на него глаза.

— Со временем всё образумится, — сказал Николя твёрдо. — Может быть, не сразу. Может быть, не через месяц и не через год. Но когда ты вырастешь, когда станешь самостоятельным, когда докажешь своим талантом, что ты — это ты, а не их марионетка, — тогда что-то изменится.

— Думаешь? — в голосе Луи прозвучало столько недоверия и одновременно столько желания поверить, что у Николя защемило сердце.

— Я знаю, — ответил он, хотя сам не был до конца уверен. Но Луи нужно было это услышать. Ему нужно было, чтобы кто-то сказал ему: «Всё будет хорошо». Даже если это будет неправдой. Даже если правда ещё неизвестна.

Луи долго молчал, глядя на догорающий закат. Потом вдруг, неожиданно, он протянул руку и сжал пальцы Николя — крепко, по-мужски, как сжимают руку перед боем.

— Спасибо, — сказал он просто. — Что выслушал. Что не смеёшься. Что не говоришь «у других ещё хуже».

— Зачем смеяться? — удивился Николя. — Ты мой друг.

Друзьям не завидуют и не смеются над ними. Друзьям помогают.

Луи вытер глаза рукавом — незаметно, делая вид, что просто поправляет волосы. Потом встал, отряхнул штаны и посмотрел на тёмное небо, где уже вовсю горели звёзды.

— Ладно, — сказал он, и в голосе его снова зазвучали знакомые, привычные нотки. — Пойду я. А то отец, если я опоздаю, устроит мне показательную порку.

Он усмехнулся, но в усмешке этой всё ещё оставалась горечь.

— Завтра увидимся? — спросил Николя.

— Куда я денусь? — ответил Луи, надевая свою обычную маску весёлого, беззаботного парня. — Репетиция с утра. Не опаздывай.

Он развернулся и пошёл прочь, через поле, к дороге, которая вела в город. Его фигура быстро растворилась в сумерках, и только лёгкие шаги ещё некоторое время доносились до Николя.

Николя остался один. Он сидел на одеяле, прижимая к

груди скрипку, и думал о том, как мало мы знаем о тех, кого считаем своими друзьями. Луи всегда смеётся. Луи всегда шутит. Луи всегда бодр и весел. А внутри — такая боль. Такой холод. Такое одиночество.

Он вспомнил свою семью: мать, которая каждый вечер обнимает его, хотя сама падает с ног от усталости. Отца, который, несмотря на свою хромоту и тяжёлую работу, всегда находит для него доброе слово. Бабушку Зару, которая поёт ему колыбельные, потому что любит, просто потому что любит.

И ему стало стыдно. Стыдно за то, что он иногда жаловался на жизнь. Стыдно за то, что считал свои трудности самыми тяжёлыми в мире.

Он встал, свернул одеяло, взял скрипку и побрёл домой. Звёзды светили ему с вышины, и одна из них — особенно яркая, белая, как будто смеющаяся — мигнула ему в ответ.

— Всё наладится, Луи, — прошептал Николя в темноту. — Всё обязательно наладится. Ты только потерпи.

И он поверил в это так же сильно, как верил в то, что однажды они снова встретятся с Тома под старым дубом. Потому что если не верить, то зачем тогда всё это — дружба,

музыка, жизнь?

На следующий день мальчики пришли в оркестр непривычно тихими.

Николя вошёл в актовый зал и сразу почувствовал, что чего-то не хватает. Воздух будто стал плотнее, тяжелее, и даже утреннее солнце, которое обычно весело золотило пылинки над пюпитрами, сегодня казалось тусклым и невыразительным.

Луи сидел на своём месте, крутил в руках кларнет и смотрел в одну точку. Пьер молча перебирал ноты, хотя было видно, что он их не читает — просто перекладывает с места на место, чтобы занять руки. Марк стоял у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, и смотрел на улицу, где по-прежнему было лето, но почему-то безрадостное.

Никто не шутил. Никто не смеялся. Никто не вспоминал вчерашние приключения.

Тома уехал. Он не прислал записку, не позвонил — впрочем, откуда? — он просто уехал. И теперь его не было. И это «не было» чувствовалось кожей, дыханием, каждой клеточкой.

— Как вы думаете, он доехал? — тихо спросил Марк, не отрываясь от окна.

— Наверное, — так же тихо ответил Пьер. — Поезда же ходят.

— А вдруг налёт? — голос Марка дрогнул.

— Не надо, — резко сказал Луи, поднимая голову. — Не надо о плохом.

Николя молчал. Он сжимал футляр со скрипкой и смотрел на пустое место в ряду духовых — то самое место, где всегда сидел Тома. Пустота была такой осязаемой, что хотелось поставить туда что-нибудь — стул, ноты, что угодно, — лишь бы не видеть этой зияющей пустоты.

Так их и застал Люсьен Бернар.

Дирижёр вошёл в зал с чашкой чая в руке, привычно оглядел оркестрантов и сразу заметил, что что-то не так. Он поставил чашку на край рояля, подошёл ближе и остановился напротив мальчиков.

— Что случилось? — спросил он негромко, без обычной командирской строгости. — Почему вы такие кислые? Где

Тома?

Никто не ответил. Луи отвернулся к стене. Пьер уставился в пол. Марк тихо вздохнул.

— Тома уехал, — сказал Николя. — Его семья переезжает. Вчера. Насовсем.

Люсьен молчал несколько секунд. Потом снял фуражку, провёл рукой по волосам и тяжело опустился на первый попавшийся стул.

— Вот так, — сказал он не то спрашивая, не то утверждая. — Вот так раз — и нет человека.

— Мы вчера прощались, — добавил Николя, чувствуя, как к горлу снова подкатывает ком. — На хуторе. Он плакал. Мы все плакали. А сегодня его уже нет.

Люсьен обвёл взглядом мальчиков. Их опущенные головы, сжатые губы, глаза, в которых ещё не высохли вчерашние слёзы. В их взглядах была не просто грусть — в них была растерянность. Как будто они впервые в жизни столкнулись с тем, что друг может исчезнуть не на время, а навсегда.

— Идите сюда, — сказал дирижёр, жестом подзывая их

к себе.

Ребята переглянулись, поднялись со своих мест и подошли. Люсьен посадил их рядом с собой — на стульях, на подлокотниках, на полу — неважно. Главное, чтобы они были вместе.

— Слушайте меня, мальчики, — начал он негромко, но весомо. — Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Потерять друга — это всегда больно. Даже если он не умер, даже если он просто уехал. Это всё равно потеря.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— Я расскажу вам одну историю, — продолжал Люсьен. — Когда я был молодым, примерно как вы сейчас, у меня был друг во дворе. Мы были с ним неразлучны — как вы сейчас. Вместе лазали по деревьям, вместе играли в футбол, вместе мечтали. А потом жизнь разбросала нас по разным концам страны. Его семья переехала далеко-далеко, за несколько сотен километров. Я не видел его семь лет. Семь лет, понимаете?

Мальчики слушали, затаив дыхание.

— Мы писали друг другу письма, — сказал Люсьен. —

Каждую неделю, а иногда и чаще. Я рассказывал ему о своих концертах, он мне — о своей жизни, о новой работе, о семье. А потом, через семь лет, мы случайно встретились на вокзале в Париже. Оба уже повзрослевшие, оба уставшие, оба с чемоданами в руках. И знаете, что мы сделали?

— Что? — прошептал Марк.

— Мы обнялись и простояли так минут десять, — улыбнулся Люсьен. — А потом пошли пить кофе и разговаривали до самого утра. И с тех пор мы встречаемся каждый раз, когда я приезжаю в его город. Иногда — чаще. Потому что настоящая дружба не боится расстояний.

Он посмотрел на каждого из ребят по очереди.

— Ваш друг уехал. Но это не значит, что вы его потеряли. Вы будете писать письма. Вы будете ждать встречи. И однажды — я в этом уверен — вы встретитесь. Может быть, через год. Может, через пять лет. Может, через десять. Но вы встретитесь. И тогда вы поймёте, что расстояние проверяет дружбу, но не разрушает её.

Луи поднял голову.

— А вы? — спросил он. — Вы тоже теряли друзей?

— Многих, — ответил Люсьен, и в глазах его мелькнула тень старой, давней боли. — Я потерял друзей на войне. Я потерял друзей, которые уезжали и не вернулись. Я потерял друзей, с которыми мы просто перестали общаться — так бывает, это тоже потеря. И знаете, что я понял?

— Что? — спросил Николя.

— Что не стоит бояться перемен, — сказал дирижёр твёрдо. — Перемены — это часть жизни. Они приходят независимо от того, хотим мы их или нет. Кто-то уходит, кто-то приходит. Места пустеют, но потом заполняются снова. Не теми же людьми, может быть, но такими же важными.

Он положил руку на плечо Николя, потом Луи, потом Пьера, потом Марка.

— Ваша дружба с Тома не закончилась. Она просто перешла в другую форму. Вы будете помнить его. Вы будете ждать его. И когда он вернётся — а я верю, что он вернётся, — вы обнимете его так же, как я обнял своего флейтиста на парижском вокзале. А сейчас… сейчас не вешайте носы. Он бы этого не хотел.

Люсьен поднялся, надел фуражку и хлопнул в ладоши.

— А теперь — репетиция. Играем так, чтобы Тома, где бы он ни был, мог нами гордиться.

Оркестр зашумел, задвигался. Ребята разошлись по своим местам. Николя взял скрипку, и пальцы его, всё ещё немного дрожащие, легли на струны. Он знал, что Тома не слышит их сейчас. Но ему хотелось верить, что где-то далеко, в незнакомом городе, в незнакомом доме, его друг закрывает глаза и чувствует эту музыку — так же, как чувствуют запах дома, даже находясь за тысячи километров.

16. Жерар – друг.

Репетиция закончилась позже обычного. Люсьен был сегодня особенно требовательным — заставлял переигрывать, поправлял, добивался идеального звучания. Но никто не жаловался. Работа помогала забыть о грусти, и даже Луи, который весь день был мрачнее тучи, к концу репетиции чуть оживился, поймал ритм и заиграл свою партию так чисто, как никогда раньше.

Когда все разошлись, Николя остался. Это уже вошло в привычку — после уроков с Жераром он часто задерживался в зале, играл на пианино, разговаривал, а иногда они просто сидели молча, и этого было достаточно.

Сегодня старый пианист ждал его у рояля. Он сидел, положив свои длинные тонкие пальцы на клавиши, и смотрел куда-то в пространство.

— Садись, — сказал Жерар, когда Николя приблизился. — Сегодня без уроков. Просто посидим.

Николя поставил скрипку на стул и сел рядом на вращающийся стул, который уже стал почти его собственным.

— Ты молодец, — сказал вдруг Жерар, не глядя на него. — Тогда. С лягушкой.

Николя опешил.

— Что?

— Лягушка, — повторил пианист, и уголок его губ дёрнулся в странном, непривычном для него движении — похожем на улыбку. — Которую вы мне в сапог положили. Я знаю, что это вы. Не обижайтесь, никто не выдал, я сам догадался. Кто ещё мог? Только вы, шайка разбойников.

Николя не знал, что сказать. Он приготовился к выговору, к нотации, к тому, что Жерар сейчас начнёт читать ему

мораль о неподобающем поведении. Но пианист молчал. И молчание это было странным — тёплым, почти благодарным.

— Ты знаешь, — заговорил Жерар снова, и голос его звучал как-то иначе, без обычной хмурой колкости, — я не всегда был таким угрюмым.

Николя повернулся к нему.

— Был? — спросил он осторожно.

— Был, — кивнул Жерар. — Давно. Очень давно. Когда я был мальчишкой, примерно как ты.

Он замолчал, собираясь с мыслями. Его длинные пальцы легонько коснулись клавиш, извлекая едва слышимый, прозрачный звук.

— У меня тоже были друзья, — продолжал он. — Мы, как и вы, бегали по улицам, лазали по деревьям, кидались камнями в старые заборы. А однажды… однажды мы стащили у соседской старухи простыню, развесили её на верёвках и нарисовали на ней огромные усы. Знаешь, зачем?

— Зачем? — спросил Николя, не в силах представить Же-

рара — этого бледного, угрюмого, вечно недовольного старика — бегущим по улице с простынёй в руках.

— Чтобы сделать из неё знамя, — усмехнулся Жерар, и в усмешке его проскользнуло что-то совсем юное, почти детское. — Мы шли по главной улице с этим знаменем, пели во весь голос глупые песни и бросали в прохожих цветами. Нас тогда чуть не арестовали. Но это было… это было здорово.

Николя смотрел на него, открыв рот.

— А потом? — спросил он.

— А потом выросли, — пожал плечами Жерар, и улыбка на его бледном морщинистом лице погасла так же внезапно, как и зажглась. — Потом разъехались, потерялись, забыли друг друга. Я остался один. И со временем разучился радоваться. Разучился смеяться. Разучился быть… как вы это называете… живым.

Он помолчал.

— А тут появились вы. С вашими лягушками, рожицами на заборах, глупыми шутками и этим… этим цыганским мальчишкой, который играет на скрипке так, что у меня сердце останавливается. И я вспомнил.

— Что вспомнили? — тихо спросил Николя.

— Что я тоже когда-то был таким, — ответил Жерар. — Живым.

Он повернулся к Николя, и в его глазах, холодных и колючих обычно, сегодня горел тёплый, мягкий свет.

— Спасибо тебе, — сказал Жерар. — За лягушку. За рожицы на заборе. За то, что не боишься меня. За то, что заставляешь вспоминать.

Николя молчал. В горле стоял ком — на этот раз не от грусти, а от умиления. Он никогда не думал, что старый хмурый пианист может быть таким. Что внутри этого человека, спрятанного за колючей проволокой злости и презрения, живёт маленький мальчишка, который однажды нёс по улице простыню с усами и был счастлив.

— Вы не страшный, — сказал он наконец. — Я вам уже говорил. Вы просто забыли, каково это — быть счастливым.

Жерар не ответил. Он положил руки на клавиши и заиграл — тихо, очень тихо, почти шёпотом. Это была старинная, давно забытая мелодия, которую Николя никогда рань-

ше не слышал. В ней были смех, и солнце, и мальчишки, бегущие по лужам, и огромное знамя из соседской простыни, развевающееся на ветру.

Николя закрыл глаза и слушал. Ему казалось, что он слышит не просто музыку — он слышит душу Жерара. Ту самую, которую тот так долго прятал от всех. И которая наконец-то начала оттаивать.

— Спасибо, — прошептал Николя ещё раз, когда последний аккорд растаял в воздухе.

Жерар убрал руки с клавиш и кивнул — один раз, резко, по-своему. Но в этом кивке было что-то новое. Что-то очень похожее на дружбу.

Настала золотая осень. Сентябрь раскрасил деревья в жёлтые, оранжевые и багряные тона, будто кто-то щедрой рукой рассыпал по лесам и паркам драгоценные краски. Воздух стал прозрачным, хрустальным, с лёгкой горчинкой увядающих листьев и влажной земли. По утрам уже чувствовалась прохлада, но днём солнце ещё грело по-летнему, ласково и щедро, словно хотело подарить людям последние тёплые дни перед долгой зимой.

Дом культуры сильно преобразился за лето.

То, что ещё весной казалось мрачным и обшарпанным, теперь радовало глаз. Крышу подлатали — в актовом зале больше не капало с потолка во время дождя. Стены внутри побелили, окна вымыли до прозрачности, и солнечный свет свободно проникал в коридоры, заливая их тёплым, живым сиянием. Клумбы перед входом, которые ребята заботливо окапывали и поливали всё лето, пестрели астрами и бархатцами — яркими, нарядными, будто маленькие флажки, приветствующие каждого входящего.

Чайная комната, которую они привели в порядок ещё в начале лета, теперь стала любимым местом для после репетиционных посиделок. Там стоял старый, но крепкий стол, несколько стульев, которые Пьер собственноручно починил, и даже висела на стене афиша с первой совместной программы оркестра. Луи принёс из дома заварочный чайник, Марк — несколько кружек, а Николя — бабушкино варенье в маленькой банке, которое мать берегла для особых случаев.

Друзья всё так же собирались вместе — теперь уже не на пустыре за кирпичным заводом, а на хуторе, где они когда-то прощались с Тома. Это место стало для них особенным. Старый дуб, под которым они сидели в тот августовский вечер, казался им теперь живым свидетелем их дружбы, и каждый раз, когда они приходили сюда, им чудилось, что дерево ра-

дуется их приходу.

Луи повеселел после того разговора на поляне. Он по-прежнему шутил, по-прежнему громко смеялся и подкалывал друзей, но Николя иногда замечал в его глазах ту самую, затаённую грусть, о которой он рассказал тогда. Пьер и Марк, казалось, ничего не замечали, и Николя был благодарен Луи за то, что тот доверился именно ему. Он бережно хранил эту тайну, как хранят хрупкую вещь, которую легко разбить неосторожным словом.

17. Письмо.

Однажды в субботу, когда ребята уже собрались на хуторе, случилось нечто особенное.

Николя прибежал запыхавшийся, раскрасневшийся от быстрого бега, и в руке у него был зажат запечатанный конверт — белый, чуть помятый по краям, с маркой в углу.

— Письмо! — закричал он ещё издали, размахивая конвертом над головой. — Письмо от Тома!

Луи, Пьер и Марк вскочили с одеяла одновременно. Они окружили Николя плотным кольцом, заглядывая ему через плечо, хотя никто из них не умел читать чужие письма.

— Да открывай же! — нетерпеливо воскликнул Пьер. — Что он пишет? Где он? Как он?

Николя дрожащими пальцами вскрыл конверт, развернул сложенный вчетверо лист бумаги и начал читать вслух, медленно, стараясь не пропустить ни слова.

«Дорогие мои Луи, Николя, Пьер и Марк!

Простите, что не писал раньше. Столько всего случилось, что я не знал, с чего начать. Мы переехали в Лион — большой город на юге, у слияния двух рек. Вы бы видели эти мосты! Я никогда раньше не видел столько мостов в одном месте.

Комната у нас маленькая, окна выходят во двор, и по утрам меня будят петухи — представляете? В большом городе — и петухи. Соседи держат курятник прямо под нашими окнами.

Я хожу в новую школу. Здесь всё по-другому: другие учителя, другие дети, другие правила. Сначала было очень трудно, я всё время молчал и боялся открыть рот. Но потом… потом я подружился с одним мальчиком. Его зовут Габриэль. Он тихий, как я, и у него тоже рыжие волосы, только

светлее, чем у Пьера.

Габриэль играет на гитаре — немного, не очень хорошо, но ему нравится. А я… я почти не играю на своём инструменте. Знаете, как-то руки не поднимаются. Мама спросила меня вчера: "Ты почему не занимаешься?" А я не знаю, что ей ответить. Без вас… без оркестра… без нашего Жерара и его ворчания… без всего этого музыка стала какой-то чужой. Я пробовал играть — но звук получается плоским, неживым, как будто не я играю, а кто-то чужой.

Я очень, очень сильно по вам скучаю. Скучаю по нашим репетициям, по дурацким шуткам Луи, по тому, как Пьер вечно спорит по пустякам, по тому, как Марк молчит и смотрит в небо. Скучаю по старому дубу. По тому вечеру, когда мы обнимались и обещали встретиться.

Я хочу домой. Хотя я уже дома. Но это — не мой дом. Мой дом — там, где вы.

Передайте привет Жерару и Люсьену. Скажите, что я их помню и люблю. Даже Жерара, даже со всеми его лягушками.

Я жду нашей встречи. Верю, что она будет. Обнимаю вас всех крепко-крепко.

Ваш Тома».

Николя дочитал, и повисла тишина. Только ветер шуршал жёлтыми листьями на старом дубе, да где-то вдалеке пролетела стая птиц, уносящихся на юг.

Луи отвернулся и быстро вытер глаза рукавом — сделал вид, что ему просто пыль в глаз попала. Пьер смотрел в землю и молча крутил в пальцах травинку. Марк сидел, поджав губы, и его обычно беззаботное лицо сейчас было напряжённым, как струна.

— Лион, — сказал наконец Луи, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Это далеко. Поездом, наверное, целый день.

— Или больше, — отозвался Пьер.

— Но не на край света, — добавил Николя, складывая письмо и бережно пряча его во внутренний карман куртки. — Будем знать, куда писать.

Он посмотрел на друзей. В их глазах он видел ту же смесь чувств, что терзала и его самого: грусть от того, что друга нет рядом, и надежду на то, что однажды они всё-таки увидятся.

— Он завёл друга, — сказал Марк, и в голосе его прозвучало что-то похожее на облегчение. — Габриэль. Это хорошо. Один — плохо. А с другом — легче.

— Легче, но не совсем, — возразил Луи. — Габриэль — это не мы. Мы не заменяемся.

Николя молчал, думая о том, что сказал Тома про музыку: «Без вас музыка стала какой-то чужой». Ему было больно это слышать, потому что он знал, что такое — потерять музыку. Когда она уходит, в душе остаётся пустота, которую ничем не заполнить.

— Мы будем писать ему часто, — сказал он твёрдо. — Каждую неделю. Будем рассказывать про репетиции, про концерты, про Жерара и его лягушку. Будем посылать ему ноты — пусть играет, даже если не хочется. Потому что если он перестанет играть совсем, то часть его умрёт. Я это знаю.

Ребята кивнули. Луи положил руку на плечо Николя, и они опять, как в тот августовский вечер, встали в круг. Обнялись — молча, без лишних слов, потому что слова иногда бывают лишними.

А старый дуб шумел над ними золотой листвой, и казалось, что он шепчет что-то ободряющее, обнадёживающее —

о том, что расстояние не страшно, когда есть дружба. О том, что Лион — это не другой мир, просто другой город. О том, что однажды они всё равно встретятся. Под этим же дубом. Или под каким-нибудь другим. Но обязательно встретятся.

В тот вечер Николя долго сидел на крыльце дома и смотрел на звёзды. Он думал о Тома — о том, как тот, наверное, сейчас сидит у окна в незнакомом городе, смотрит на такое же небо и вспоминает их. И от этого думать было и грустно, и тепло одновременно.

Он достал из кармана письмо, перечитал его ещё раз — особенно ту строчку, где Тома писал: «Мой дом — там, где вы». И улыбнулся.

— Мы тебя тоже любим, Тома, — прошептал он в темноту. — Мы тебя ждём.

Николя начал дополнительно учиться дома.

Мать, несмотря на свою постоянную усталость, была очень образованной женщиной. До войны она работала в школе, преподавала детям французский и арифметику, и в её голове до сих пор хранились все правила, все таблицы, все те знания, которые она когда-то передавала другим. Теперь она передавала их сыну.

— Садись, Николя, — говорила она вечером, убрав со стола скудный ужин и протерев дощатую столешницу влажной тряпкой. — Сегодня будем разбирать спряжение глаголов третьей группы.

Николя садился напротив, доставал потрёпанную тетрадь и огрызок карандаша, который бережно точил каждое утро ножом для хлеба. Мать диктовала, объясняла, поправляла. Голос её звучал тихо, иногда срывался — она очень уставала на работе, ноги опухали, спина болела, — но она не жаловалась. Она словно оживала за этим столом, вспоминая, какой была раньше — молодой учительницей с горящими глазами и звонким голосом, перед которой замирал даже самый озорной класс.

— Мам, а ты научишь меня считать дроби? — спросил однажды Николя.

— Научу, — ответила она, устало улыбнувшись. — Всему научу, что сама знаю.

Николя усваивал быстро. Очень быстро. То, на что другим детям требовались недели, он схватывал за несколько вечеров. Мать удивлялась, проверяя его тетради — почти без ошибок, всё аккуратно, всё логично, будто мальчик не

учился заново, а просто вспоминал то, что знал всегда.

— Ты у меня умница, — говорила она, гладя его по голове. — Ты далеко пойдёшь.

Николя краснел от похвалы, но внутри ему было приятно. Ему нравилось учиться. Нравилось открывать тетрадь и видеть, как карандаш выводит ровные буквы и цифры. Нравилось понимать то, о чём он раньше даже не задумывался. Знания давались ему легко, как когда-то музыка, и это чувство — чувство роста — было почти таким же сладким, как тот самый бисквит, который он принёс домой на день рождения.

18. Новый год.

В Париже осень всегда была красивой, но короткой. В октябре ещё золотились листья на бульварах, в ноябре начинались первые заморозки, а к декабрю город укутывался в серое одеяло низких облаков и моросящих дождей. Сена становилась свинцовой, холодной, и ветер гулял по набережным, пронизывая до костей даже тех, кто кутался в самые тёплые пальто.

В этом году зима пришла рано. Уже в начале декабря выпал первый снег — редкий, робкий, почти сразу растаяв-

ший в грязных лужах, но всё равно удивительный. Война ещё не кончилась, но в воздухе чувствовалось что-то новое, какое-то неясное, трепетное ожидание. Говорили, что союзники наступают, что немцы отступают, что скоро — вот-вот, ещё немного — и всё закончится.

Люди на улицах стали чуть смелее. Женщины начали носить яркие платки, мужчины — громче разговаривать, дети — бегать по лужам, не оглядываясь на патрули. Город оживал, как больной, который наконец пошёл на поправку.

Но до праздников оставались считанные дни, и жизнь по-прежнему была тяжёлой. Еды не хватало. Топить печки было нечем. Семьи экономили на всём, надеясь, что Новый год принесёт с собой не только календарные перемены, но и настоящие, долгожданные — мир, свободу, сытость.

Как-то вечером, за несколько дней до Нового года, мать вернулась с работы расстроенная.

Николя сидел за столом, учил стихотворение, которое она задала ему накануне, и сразу заметил, что что-то не так. Мать вошла в комнату, не сняв пальто, села на табурет у печки и долго молчала, глядя в одну точку.

Бабушка Зара, перебиравшая старые лоскуты на своей

кровати, подняла голову и посмотрела на дочь.

— Мари, что случилось? — спросила она тихо, настороженно.

Мать вздохнула и махнула рукой — устало, безнадёжно.

— Ничего, мама. Всё как всегда.

Она замолчала, потом подошла к столу, села напротив Николя и провела ладонью по его волосам.

— Иди ложись, сынок, — сказала она мягко. — Ты уже выучил достаточно на сегодня. Завтра доучишь.

Николя хотел возразить — он чувствовал, что мать что-то недоговаривает, что она расстроена, что ему, может быть, стоит остаться, — но она смотрела на него так, что возражать было невозможно. Он кивнул, собрал тетради, положил карандаш на место и пошёл в свою комнату.

Лёг, накрылся одеялом, закрыл глаза. Но не спал. Он ждал. Он знал, что мать и бабушка, думая, что он уснул, начнут говорить. И он хотел слышать.

Так и случилось.

— Говори, Мари, — сказала бабушка Зара, когда дверь в комнату Николя закрылась. — Что стряслось?

— Никакой пайки не будет, — глухо ответила мать. — Никакой дополнительной пайки перед праздником. Я ходила сегодня к завхозу, просила, объясняла, что у нас дети, что Новый год, что мы уже полгода без мяса. Он сказал, что ничего не может сделать.

Николя слышал, как дрожит мамин голос — от усталости, от обиды, от бессилия.

— Ни хлеба лишнего, ни кусочка масла, ни кружки молока, — продолжала она. — Даже для праздника. У людей будет праздник, а у нас — пустой стол. Я не знаю, что делать, мама. Я не знаю, как им в глаза смотреть — Николя, Клоду. Они ждут чуда, а у меня для них чуда нет.

В комнате повисла тишина. Николя слышал, как мать всхлипывает — тихо, приглушённо, стараясь не шуметь, чтобы он не услышал. Как она сморкается в платок. Как бабушка Зара поднимается с кровати и садится рядом с дочерью.

— Не плачь, Мари, — сказала бабушка твёрдо, хотя в го-

лосе её тоже слышалась дрожь. — Не плачь. Мы что-нибудь придумаем.

— Что мы придумаем? — горько спросила мать. — Что мы можем придумать? У нас ничего нет.

— Будет, — отрезала бабушка тоном, не терпящим возражений. — Не может быть, чтобы не было. Мы что-нибудь сделаем. Я что-нибудь сделаю.

Николя лежал в темноте, прижавшись щекой к подушке, и слушал. Он слышал, как мать плачет. Слышал, как бабушка шепчет какие-то слова — утешающие, древние, на цыганском. Слышал, как тикают старые настенные часы, отсчитывая время до праздника, который обещал быть пустым и голодным.

Он закрыл глаза и сжал кулаки под одеялом.

— Мы что-нибудь придумаем, — прошептал он одними губами, повторяя за бабушкой. — Не может быть, чтобы не придумали.

И в голове у него уже начал рождаться план. Смутный, неясный, но живой. Он ещё не знал, что именно сделает. Но знал одно: на Новый год у его семьи будет праздник. Насто-

ящий. Даже если для этого ему придётся перевернуть весь мир.

На следующий день бабушка Зара с самого утра была непривычно молчаливой.

Она собралась на работу, как всегда, надела свой старенький платок, завязала его под подбородком, взяла узелок со сменой белья — и вдруг остановилась у порога. Посмотрела на спящего Николя, на дочь, которая уже хлопотала на кухне, и сказала тихо, почти шёпотом:

— Сегодня я приду пораньше. Если получится.

Мать удивлённо подняла бровь, но переспрашивать не стала. Она знала свою мать — если та что-то сказала, значит, так и будет. И спрашивать лишнее бесполезно.

Зара пришла в прачечную, как всегда, первой. Разожгла печь, нагрела воду, замочила простыни. Работа спорилась в её руках — быстрых, привычных, несмотря на возраст. В прачечной было шумно, жарко и пахло хозяйственным мылом, и этот запах въелся в её пальцы настолько, что не выветривался даже по ночам.

К обеду она подошла к заведующей.

— Извините, мадам, — сказала Зара, почтительно сложив руки на фартуке. — Мне нужно отлучиться пораньше сегодня. Дела семейные, неотложные.

Заведующая была женщиной суровой, но справедливой. Она посмотрела на Зару, на её морщинистое лицо, на усталые глаза — и кивнула.

— Иди, — сказала она коротко. — Ты одна из лучших работниц. Заслужила.

Зара поклонилась, сняла фартук, ополоснула руки и вышла на улицу.

Она шла быстро, несмотря на возраст. Ноги несли её по знакомым улочкам, вдоль серых домов, мимо заколоченных лавок и редких прохожих, кутающихся в потрёпанные пальто. Дул холодный декабрьский ветер, щипал щёки, забирался под платок, но Зара не замечала холода. Она шла к тому, к кому редко кто ходил добровольно, но к кому многие ходили от отчаяния.

К торговцу.

Его лавка стояла на окраине, в неприметном каменном

здании с облупившейся вывеской. Никакого названия — просто «Продукты». Но все в округе знали, что здесь можно достать всё, чего нет в обычных магазинах. Мясо, мука, консервы, сахар — по ценам, которые кусались, или в обмен на то, что торговец посчитает равноценным.

Звали его Бернар Лефевр.

Зара знала его много лет. Он был здесь ещё до войны, и тогда уже его не любили. Маленький, кругленький, с масленными глазками и жирными пальцами, которые быстро и ловко перебирали товар. Он никогда не улыбался искренне — только ехидно, криво, как будто знал что-то такое, чего не знаешь ты, и это знание давало ему власть над тобой.

Зара толкнула дверь. Колокольчик над входом жалобно звякнул.

Лавка была полупустой, тускло освещённой единственной лампочкой под потолком. Пахло сыростью, старыми крупами и чем-то кислым. Бернар Лефевр стоял за прилавком, перебирал какие-то бумаги и даже не поднял головы, когда она вошла.

— Месье Лефевр, — сказала Зара, подходя к прилавку. — Здравствуйте.

Он поднял глаза. Маленькие, острые, быстрые. Оглядел её с головы до ног — старую цыганку в застиранном платке, с морщинистым лицом и узловатыми руками, — и усмехнулся.

— Здравствуй, здравствуй, — сказал он небрежно. — Чего пришла? У меня не богадельня. Обменивать есть что?

Зара выпрямилась — насколько позволяла её сгорбленная спина — и посмотрела ему прямо в глаза.

— Есть, — сказала она. - Мои золотые зубы.

Бернар Лефевр сразу оживился. Он подался вперёд, сощурился, разглядывая.

— Золото? — спросил он, и в голосе его зазвучал неприкрытый интерес.

— Золото, — подтвердила Зара. — Зубы. Мои. Золотые коронки. Два. Взамен на тушёнку и муку. Чтобы сделать пирог для внука и семьи. Новый год на носу, а у нас — пустой стол.

Бернар Лефевр откинулся назад, сложил пухлые ручки на

животе и улыбнулся — той самой ехидной, масленой улыбкой, от которой Зару передёргивало.

— Тушёнка и мука, — протянул он, как будто пробуя слова на вкус. — Ты просишь много, старая.

— Я даю много, — ответила Зара, не опуская глаз. — Золото нынче дороже тушёнки. Ты это знаешь.

Он помолчал, поигрывая жирными пальцами по прилавку. Потом кивнул — коротко, резко.

— Хорошо. Согласен. Но смотри: один зуб — тушёнка. Второй зуб — мука. Уговор такой был изначально. Запомнила?

Зара почувствовала, как внутри у неё похолодело. Один зуб — банка тушёнки. Второй — мука. Это не было равным обменом. Банка тушёнки стоила дешевле золота. Мешок муки — тем более. Но выбора у неё не было.

— Согласна, — сказала она, и голос её не дрогнул.

Бернар Лефевр вытер руки о грязный фартук и жестом указал на стул в углу.

— Садись.

Зара села. Открыла рот. Её сердце колотилось где-то у горла, но она не показывала страха. Она смотрела на него спокойно, как смотрят на неизбежное, на судьбу, которую не обойти.

Торговец взял с полки старые, заржавевшие клещи. Медленно, с видимым удовольствием, подошёл к ней. Склонился.

Зара зажмурилась.

Послышался скрежет металла о металл. Хруст. Острая, пронзительная боль пронзила челюсть, и рот наполнился тёплым, солёным — кровью. Она сжала подлокотники стула побелевшими пальцами, но не вскрикнула. Не издала ни звука.

Первый зуб. Второй.

Бернар Лефевр выпрямился, бросил окровавленные клещи на прилавок и с отвращением вытер руки о тряпку. На его ладони лежали два жёлтых, в красных разводах зуба. Он поднёс их к свету, покрутил, улыбаясь своей мерзкой улыбкой.

— Очистим, переплавим. Доброе золото, — сказал он, пряча зубы в карман.

Зара сидела, прижимая ко рту платок, пропитанный кровью. Голова кружилась, перед глазами плыли жёлтые круги, но она не упала. Она не могла упасть.

Она встала.

— Товар давай, — сказала она, глотая кровь.

Бернар Лефевр лениво выставил на прилавок банку тушёнки — тяжёлую, с наклейкой, изображавшей быка, — и небольшой мешочек с мукой. Белой мукой, настоящей, которую не видели на прилавках уже который год.

Зара посмотрела на эти сокровища — такую маленькую кучку за такую большую боль. И покачала головой.

— Ты взял два зуба, — сказала она, и голос её, несмотря на боль, звучал твёрдо. — А товара выложил на один. Где остальное?

Бернар Лефевр поднял брови, изображая удивление.

— Какое остальное? Уговор был такой: зуб — банка, зуб — мука. Всё. Я выполнил уговор.

— Ты обманываешь, — сказала Зара, и в её чёрных глазах вспыхнул огонь. — Ты всегда обманываешь. Золото стоит в десять раз больше того, что ты мне дал.

— Это твоё дело, — пожал плечами торговец, отворачиваясь. — Не нравится — уходи. Я тебя не держу. Товар оставляй.

Зара стояла, сжимая в руках банку и мешок. Кровь всё ещё капала в платок, челюсть ныла тупой, ноющей болью. Она хотела бросить эти продукты ему в лицо, хотела сказать, что он хуже любой крысы, хотела…

Но она вспомнила внука. Вспомнила, как Николя смотрел на тот маленький кусочек бисквита и делил его на всех, хотя сам был голоден. Вспомнила, как он играет на скрипке, закрыв глаза, как музыка течёт из его пальцев, как светится его лицо.

И она промолчала.

— Что ж, — сказала она, поворачиваясь к выходу. — Скоро ему всё припомнится, Бернар Лефевр.

— Кому? — усмехнулся он. — Мне? И кто же мне припомнит?

Зара остановилась на пороге и обернулась. В её глазах горело что-то древнее, цыганское, то, что невозможно купить или продать.

— Не только я тебе это говорю, — сказала она тихо. — Все, кого ты обманул. Все, кто уходил от тебя с пустыми руками и с болью в сердце. Их голоса накопятся когда-нибудь в один огромный крик. И тогда ты услышишь. И уже не сможешь откупиться.

Она вышла, и дверь за ней захлопнулась. Колокольчик звякнул в последний раз — жалобно, прощально.

На улице Зару качнуло. Она прислонилась к стене, вытерла платком губы — платок был красным, весь в крови, и она спрятала его в карман, чтобы никто не видел. Потом аккуратно уложила банку с тушёнкой и мешок с мукой в свой узелок, завязала покрепче и пошла домой.

Челюсть болела, голова кружилась, и во рту всё ещё чувствовался привкус железа. Но она улыбалась. Потому что знала: сегодня вечером её семья сядет за стол. Будет пирог.

Будет праздник.

И ради этого можно было терпеть боль. Ради этого можно было отдать что угодно.

— Держись, Зара, — прошептала она себе под нос. — Ещё немного. Скоро всё наладится.

Ветер дул в лицо, но она шла, не останавливаясь, домой — к дочери, к зятю, к внуку. К тем, ради кого она жила.

Бабушка Зара вернулась домой затемно.

Она вошла тихо, стараясь не шуметь, но Николя, который сидел за столом и учил стихотворение, сразу поднял голову. Он увидел, что бабушка бледнее обычного, что она держится за стену, что у неё странный, припухший рот.

— Бабушка, ты чего? — встревожено спросил он, вскакивая.

— Всё хорошо, мой цыганёнок, — ответила Зара, пряча глаза. — Всё хорошо. Смотри, что я принесла.

Она выложила на стол узелок и развязала его. Николя ахнул. Банка тушёнки — настоящей, тяжёлой, с яркой наклей-

кой. И мешочек с мукой — белой, мягкой, пахнущей зерном и теплом.

— Бабушка… откуда? — прошептал он.

— Обменяла кое-что, — уклонилась Зара от ответа. — Не важно. Главное, завтра у нас будет пирог.

Она улыбнулась, но улыбка вышла кривой — то ли от боли, то ли от усталости. Николя хотел спросить ещё, но в этот момент хлопнула дверь, и в комнату вбежал он сам — радостный, раскрасневшийся, с горящими глазами.

— Мама! Бабушка! — закричал он ещё с порога. — Вы не поверите!

Он вывалил содержимое своей сумки прямо на стол. Два яблока — краснобокие, тугие, пахнущие садом. И две груши — жёлтые, мягкие, с тонкой шкуркой, почти прозрачной на просвет.

— В оркестре раздали! — выпалил Николя, сияя. — В качестве новогодних подарков! Каждому музыканту — по два яблока и по две груши. Люсьен сказал, что это от благодарных слушателей, которые хотят поздравить нас с праздником.

Мать вышла из кухни, вытирая руки о фартук. Увидела фрукты на столе, и глаза её наполнились слезами — на этот раз не горькими, а какими-то светлыми, праздничными.

— Господи, — прошептала она. — Откуда всё это?

— Сказали, что война заканчивается, вот и появляются запасы, — ответил Николя, пожимая плечами. — Скоро, говорят, и мясо в магазинах будет.

Он не заметил, как бабушка Зара отошла к своей кровати и села, прижимая платок ко рту. Не заметил, как мать бросила на неё быстрый, тревожный взгляд. Он смотрел на фрукты и чувствовал, как внутри разливается тепло — праздничное, новогоднее, предвкушающее чудо.

Через час пришёл отец.

Клод хромал сильнее обычного — видно, нога разболелась от холода и усталости, — но на лице его сияла улыбка, такой широкой и искренней, какой Николя не видел очень давно.

— А у меня для вас сюрприз, — сказал он, ставя на пол небольшое ведёрко и свёрток в промасленной бумаге.

Он откинул крышку ведёрка. Оттуда вкусно запахло рассолом, укропом и чесноком — квашеная капуста, хрустящая, золотистая, с клюквой. Потом он развернул свёрток. Ветчина. Настоящая, копчёная, с тонкой шкуркой и слоем сала по краям. И буханка свежего хлеба — чёрного, душистого, с хрустящей корочкой.

— На заводе выдали, — сказал отец, снимая пальто. — К празднику. Всем работникам. Говорят, начальство расстаралось, из старых запасов достали.

Он сел за стол, оглядел всё, что уже лежало на нём: тушёнку, муку, яблоки, груши. Поднял брови.

— Это вы где взяли? — удивился он.

— Бабушка обменяла, — тихо сказала мать, — а Николя принёс из оркестра.

Клод посмотрел на тёщу, на её бледное лицо, на странно припухшую щёку, и в глазах его мелькнуло что-то тревожное. Но он не стал спрашивать. Только кивнул и сказал:

— Значит, завтра будет настоящий праздник.

В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла мать — Мари.

Николя удивился: он думал, что она уже давно дома. Оказывается, она задержалась на работе. Она стояла в дверях, красная от мороза, с узелком в руках, и улыбалась. Улыбалась так, как улыбаются, когда хотят сказать что-то очень важное и очень радостное.

— А у меня тоже есть новость, — сказала она, развязывая узелок.

На стол высыпались два аккуратных бумажных кулька. В одном — сахар. Белый, мелкий, рассыпчатый — такого сладкого блеска Николя не видел с довоенных времён. В другом — ещё немного муки, помимо той, что принесла бабушка.

— Нам выдали, — сказала мать, и голос её дрогнул от счастья. — В столовой. По случаю праздника. Сказали, что это максимум, что могут. Но зато — сахар. Настоящий сахар.

Она поставила кульки на стол и вдруг заплакала — не скрываясь, не вытирая слёз, а просто стояла и плакала, и улыбалась сквозь слёзы.

— Простите, — прошептала она. — Я вчера… вчера я

думала, что у нас ничего не будет. Думала, что Новый год мы встретим с пустым столом. А сегодня…

Она не договорила. Обвела руками всё, что лежало на столе: тушёнка, мука, сахар, капуста, ветчина, хлеб, яблоки, груши. Еды было так много, что она не помещалась на маленькой столешнице, и Клод придвинул табуретку, чтобы поставить на неё ведёрко с капустой.

— А сегодня — вон сколько всего, — закончила мать, всхлипывая.

Николя вскочил, подбежал к ней и обнял. Крепко, по-взрослому, прижавшись щекой к её фартуку. Потом подошёл отец, положил руку на плечо жене. Бабушка Зара, морщась от боли, поднялась с кровати и обняла дочь со спины.

Они стояли так вчетвером — маленькая, уставшая, но не сломленная семья — и молчали. Молчали, потому что слова были не нужны. Всё самое важное и так было сказано. Этими объятиями. Этой едой на столе. Этим предчувствием праздника, которое ворвалось в их дом вместе с декабрьским ветром и запахом пирогов, которые завтра испечёт бабушка Зара.

— Ну что, — сказал отец, первым вытирая глаза, — при-

нимаемся за готовку? Завтра ведь Новый год. Успеем всё приготовить?

— Успеем, — ответила мать, и голос её снова стал твёрдым, хозяйским. — Пирог испечём, капусту нарежем, ветчину накрошим. Будет праздник.

— Будет праздник, — эхом отозвался Николя.

Он смотрел на стол, уставленный едой, и не верил своим глазам. Ещё вчера мать плакала от безысходности, ещё вчера бабушка шептала, что они что-то придумают, ещё вчера он сам готовился к тому, что Новый год пройдёт в пустоте и голоде. А сегодня…

Сегодня они были богаче королей.

У них была еда. У них была семья. У них была надежда. И это было дороже любых сокровищ.

Вся семья предвкушала праздник.

Они сидели за столом допоздна: мать с отцом обсуждали, что испечь в первую очередь, бабушка Зара перебирала крупу, сортируя её для завтрашней каши, Николя натирал яблоки, чтобы они ярко блестели, словно озаряли всю комнату.

Никто не вспоминал о вчерашней горести. Никто не говорил о голоде, который преследовал их всю осень. Никто не жаловался на войну, на усталость, на боль — ни душевную, ни физическую.

В комнате пахло мукой, яблоками и надеждой.

За окном падал снег — крупный, пушистый, первый настоящий снег этой зимы. Он укрывал серые мостовые, засыпал рытвины и воронки, делал мир чистым и белым, как будто ничего страшного никогда и не случалось.

Николя смотрел в окно и думал о том, что завтра наступит новый год. Год, в который они войдут с полным столом, с горячим пирогом, со сладким чаем — потому что теперь у них есть сахар.

Год, в который они обязательно доживут до Победы.

— Мам, — сказал он вдруг. — А можно я завтра сыграю? На скрипке. Когда сядем за стол.

Мать посмотрела на него, и в глазах её снова блеснули слёзы.

— Можно, сынок, — ответила она. — Обязательно сыграй.

Николя кивнул и улыбнулся. Ему вдруг показалось, что скрипка в углу комнаты тоже улыбается — своим деревянным, молчаливым ртом, натянутыми струнами и тёплым лаком на корпусе.

Завтра они сыграют вместе. Вся семья. Его первая в жизни новогодняя прелюдия.

Он не мог дождаться. Самый последний день уходящего года выдался на удивление светлым и тихим.

Снег, выпавший ночью, лежал на крышах, на ветвях деревьев, на подоконниках и карнизах, превращая серый, израненный город в одно большое белое полотно, чистое и нетронутое. Солнце, хотя и низкое, зимнее, пробивалось сквозь облака и заставляло снежные шапки искриться тысячами маленьких бриллиантов.

В воздухе висела другая атмосфера — не та, что обычно. Исчезла привычная для военного времени напряжённость, ушла суета, уступив место чему-то медленному, тёплому, почти домашнему. Люди на улицах словно выдохнули — и выдох этот застыл в морозном воздухе белыми облачками пара.

Кто-то шёл по улице, укутавшись в воротник, низко опустив голову, пряча лицо от колючего ветра — но даже в их походке чувствовалось спокойствие, а не привычная торопливая обречённость. Кто-то, наоборот, шёл, задрав голову, смотрел на падающий снег, улыбался и ловил ртом ледяные снежинки, как в далёком, беззаботном детстве. Дети бегали по дворам — счастливые, раскрасневшиеся, с мокрыми варежками и красными носами, — лепили снеговиков, кидались снежками, визжали от восторга.

Война не кончилась. Но сегодня, в этот последний день года, всем казалось, что она отступила. Хотя бы на один день. Хотя бы для того, чтобы люди могли вспомнить, что такое жить, а не выживать.

— Мам, я пойду погуляю, — сказал Николя, натягивая пальто.

— К Луи? — спросила мать, не оборачиваясь от стола. Она месила тесто для пирога — бабушка Зара, несмотря на боль во рту, помогала ей, и обе они были по локоть в муке.

— К Луи, — кивнул Николя. — Другие сегодня не смогут, помогают дома.

— Иди, — разрешил отец, сидевший у окна с газетой. — Только не долго. Сегодня праздник, надо выспаться.

Николя чмокнул мать в щёку, махнул бабушке рукой и выбежал на улицу. Морозный воздух ударил в лицо, защипал щёки, но он только улыбнулся шире и зашагал по хрустящему снегу к условленному месту.

Луи ждал его у старого фонтана в центре квартала. Фонтан давно не работал, трубы замёрзли, и он стоял белый, засыпанный снегом, как огромный сугроб с чугунными рыбами по краям.

— Привет! — крикнул Луи издалека, размахивая рукой.

Они обнялись, стукнулись варежками и пошли вдоль улицы, не выбирая направления. Гуляли сегодня вдвоём — Пьер помогал матери мыть окна перед праздником, Марк убирался в доме вместе с сёстрами, а Тома был далеко, в Лионе, и они могли только мысленно пожелать ему счастливого Нового года.

— А у нас дома сегодня тихо, — сказал Луи, глядя под ноги. — Необычно. Обычно отец всегда орёт, даже в праздники. А сегодня… сегодня он сидит за столом и молчит. Мать накрывает. Я даже не знаю, что делать с этой тишиной.

Николя посмотрел на друга. В его голосе не было привычной весёлой нотки — только удивление пополам с грустью.

— Может, они тоже хотят праздника, — предположил Николя. — Может, они тоже устали ругаться.

— Может быть, — пожал плечами Луи. — Знаешь, Николя, Новый год для меня — единственный день в году, когда наша семья общается как полагается семье. Без ссор, без упрёков, без этого вечного «ты должен», «ты не оправдал», «что о нас подумают». Просто сидим за столом, едим, иногда даже улыбаемся друг другу.

Николя слушал, и у него сжималось сердце. Ему хотелось сказать что-то ободряющее, но он знал, что слова сейчас будут лишними. Поэтому он просто положил руку на плечо Луи и сжал — молча, дружески, понимающе.

Они прошли мимо маленького сквера, где несколько ребятишек с визгом катались на куске фанеры, привязанном к верёвке. Мимо лавки, закрытой до завтрашнего утра. Мимо дома, из окон которого доносилась музыка — кто-то играл на стареньком патефоне довоенный вальс.

— А ты знаешь, — сказал вдруг Луи, останавливаясь, —

я иногда завидую тебе даже в этом. В том, что у тебя семья… нормальная. Не идеальная, но нормальная. А у меня… — он не договорил, махнул рукой.

— У тебя тоже нормальная, — возразил Николя. — Просто другая.

— Нормальная, где отца боятся как огня? — горько усмехнулся Луи. — Ну да, конечно.

Они замолчали. Николя почувствовал, что его карман оттягивает что-то твёрдое, и вдруг вспомнил.

— Слушай, Луи, я тут кое-что принёс, — сказал он, запуская руку в карман.

Из кармана появилась небольшая деревянная фигурка — медведь, вырезанный грубовато, но с душой. Топорщилась шерсть, косолапые лапы были чуть непропорциональными, а глаза — два тёмных пятнышка — смотрели добро и немного грустно.

— Ого, — выдохнул Луи, беря фигурку в руки. — Красивая. Где взял?

— Долго копил, — улыбнулся Николя. — Иногда мама

с бабушкой и отцом давали мне совсем немного монеток. По одной, по две. Я их складывал в коробочку и не тратил. А обменять их на еду было почти невозможно — никто не хотел брать мелочь за настоящие продукты.

Он помолчал, согревая дыханием замёрзшие пальцы.

— А вчера, перед самым Новым годом, я встретил одного военного. Он сидел на скамейке у вокзала и вырезал ножичком таких зверей. Он сказал, что сам их делает, на досуге, чтобы забыть об ужасах войны. Чтобы руки были заняты, а голова — пустая. Я показал ему свои монетки, и он согласился обменять. Так у меня появился этот медведь.

Луи вертел фигурку в руках, разглядывая её со всех сторон.

— Он тебе очень нравится, — сказал он не вопросом, а утверждением.

— Очень, — кивнул Николя. — Поэтому я дарю его тебе.

Луи поднял голову. Глаза его расширились.

— Что? — переспросил он. — Дарить? Мне? Но это же твой медведь. Ты копил на него, ты менял…

— Я дарю его тебе, — повторил Николя твёрдо. — С наступающим Новым годом, Луи.

Он протянул руку, и Луи, не зная, что сказать, взял фигурку. Прижал её к груди, как самую большую драгоценность.

— Николя, я… спасибо, — выдохнул он. — Я не знаю, что сказать…

— Ничего не говори, — улыбнулся Николя. — Просто прими.

Луи помолчал, пряча медведя во внутренний карман пальто, поближе к сердцу. Потом вдруг порылся в карманах и выудил оттуда маленькую, потёртую монетку.

— А у меня для тебя тоже кое-что есть, — сказал он, протягивая монетку. — Я меняю её на твоего медведя.

Николя взял монетку, посмотрел на неё. Обычная, не золотая, не серебряная — старая, потемневшая от времени медяшка. Но на одной стороне угадывался едва различимый узор.

— Знаешь, есть такая примета, — сказал Луи, пряча гла-

за. — Нельзя дарить часы. А у меня никаких часов нет, но… я подумал, что монетку дарить можно. Это символ. Чтобы у тебя всегда были деньги. Не то чтобы я верил в приметы, но… пусть будет.

Николя сжал монетку в кулаке. Она была холодной, почти ледяной, но почему-то ему казалось, что она отдаёт теплом.

— Спасибо, Луи, — сказал он тихо. — Я буду хранить её всегда.

Они стояли друг напротив друга — два мальчика в заснеженном городе, в предновогодних сумерках, и улыбались. В их улыбках не было ни горечи, ни сожаления. Только светлая, чистая радость от того, что есть друг. Что есть этот день. Что есть завтра.

— Ну, я пойду, — сказал Луи, отряхивая снег с рукава. — Мать там волнуется, наверное. Отец без меня не начнёт праздновать, но всё равно — надо быть дома.

— Иди, — кивнул Николя. — С наступающим, Луи.

— С наступающим, Николя, — ответил Луи и, не удержавшись, шагнул вперёд и обнял друга. Коротко, по-мужски, но тепло.

Потом развернулся и пошёл прочь, сунув руки в карманы. Николя смотрел ему вслед, пока фигура друга не растаяла в снежной пелене.

Он разжал ладонь и посмотрел на монетку. Потёртая, старая, почти ничего не стоящая. Но для него она была дороже золота.

— Спасибо, — прошептал он ещё раз, пряча подарок в самый дальний карман, туда, где лежала бабушкина монетка на счастье.

Две монетки рядом. Два талисмана. Две истории, которые теперь стали частью его жизни.

Он повернулся и пошёл домой, где ждали пирог, мама, папа и бабушка Зара, где пахло мукой и корицей, где уже зажигали свечи, и где его любили — просто так, без всяких условий.

Снег падал на плечи, на шапку, на ресницы. Николя шёл и улыбался. Завтра наступит Новый год. А это значит, что всё плохое останется в старом. И начнётся что-то новое. Светлое. Хорошее.

Часы летели моментально.

Маленькая, но уютная квартира наполнилась такими запахами, какие Николя не помнил с довоенных лет. Из кухни тянуло сдобным пирогом с яблоками, из печки — подогретой ветчиной, со стола — квашеной капустой и свежим хлебом. Все эти ароматы смешивались в один, тёплый, домашний, обещающий покой и сытость, и от него кружилась голова и хотелось улыбаться без причины.

Но главным запахом был не еды. Главным был запах семейного счастья — того самого, которое не купишь ни за какие деньги и не выменяешь ни на какие золотые зубы. Он разлит в воздухе, когда все рядом, когда никто никуда не спешит, когда можно просто сидеть за столом, смотреть на родные лица и чувствовать, что ты — дома.

Мать накрыла стол белой скатертью — единственной, которую берегли для самых больших праздников. Отец зажёг керосиновую лампу, хотя за окном ещё не стемнело — для настроения. Бабушка Зара, прихрамывая и иногда морщась от боли в челюсти, расставила тарелки и разложила ложки.

Николя помогал, как мог: носил посуду, протирал стаканы, раскладывал салфетки, которые мать сшила из старых простыней. Он был счастлив. Счастлив, как никогда в жизни.

— Сынок, поставь скрипку рядом, — сказала мать. — После ужина сыграешь нам.

— Обязательно, — кивнул Николя и поставил футляр на стул, под рукой.

На окнах от тёплого воздуха таял снег, и по стеклу стекали прозрачные капли, похожие на маленькие новогодние слёзы счастья. За окном смеркалось, где-то вдалеке слышались редкие голоса и смех — город готовился встречать Новый год.

До полуночи оставалось полчаса.

Семья собралась за столом. Отец налил всем по маленькой стопке компота — вместо вина, которого у них не было. Мать поправила воротник платья, которое не надевала уже бог знает сколько времени. Бабушка Зара пригладила платок и улыбнулась своим мыслям — о чём-то далёком, о своей молодости, о той жизни, которая была до войны.

Николя сидел между матерью и отцом, сжимал в кулаке подарок Луи — старую медную монетку — и чувствовал, как внутри всё трепещет от предвкушения.

— Ну что, — сказал отец, поднимая стопку, — давайте выпьем за то, чтобы…

Он не договорил.

В дверь постучали.

Три коротких, отрывистых удара прозвучали так неожиданно, что все замерли. Николя посмотрел на мать, мать — на отца, отец — на бабушку. Все переглянулись.

— Кто бы это мог быть? — прошептала мать. — Мы никого не ждали.

С приходом войны к ним никто не приходил в гости. Друзья разъехались, соседи держались на расстоянии, да и не до гостей было — каждый выживал как мог. Стук в дверь в новогодний вечер казался чем-то из другого мира, из довоенной жизни, которую они почти забыли.

— Я открою, — сказал отец, поднимаясь.

Он подошёл к двери, откинул крючок и потянул ручку на себя.

На пороге стоял Жерар.

Старый пианист был в своём привычном потёртом пальто, в шарфе, намотанном поверх ворота, и в фетровой шляпе, которую Николя никогда раньше на нём не видел. На лице его — бледном, морщинистом, с глубокими тенями под глазами — не было привычной хмурой маски. Вместо неё было что-то совсем другое. Робкая, почти детская улыбка.

— Месье Клод, — сказал Жерар, чуть приподнимая шляпу. — Прошу прощения за беспокойство в такой вечер. Я… я подумал, что нехорошо оставаться одному в Новый год.

Отец опешил. Он знал Жерара только по рассказам Николя — как того самого пианиста, который сначала выгнал сына, а потом стал его учителем. Он не ожидал увидеть его на пороге собственного дома.

— Проходите, — сказал он, отступая в сторону.

Николя, услышав знакомый голос, вскочил из-за стола. Он не задумывался ни секунды — словно это был его старый друг, с которым они сто лет не виделись, — он подбежал к Жерару и протянул руку.

— Жерар! Здравствуйте!

Старый пианист посмотрел на него, и его улыбка стала шире. Он не сделал ни одного замечания по поводу этикета — не сказал, что младший не должен здороваться первым, не поправил, как нужно обращаться к старшим. Он просто протянул свою длинную, бледную руку и крепко пожал ладонь Николя.

— Здравствуй, здравствуй, цыганёнок, — сказал он, и в голосе его не было ни колкости, ни привычной ворчливости. Только доброта. Искренняя, тёплая, какая-то совсем неожиданная для этого вечно хмурого человека.

— Жерар, проходите, садитесь с нами, — затараторил Николя, таща гостя за руку к столу. — У нас сегодня пирог! И тушёнка! И ветчина! Правда, папа?

— Правда, — растерянно кивнул отец, закрывая дверь.

— И я играть буду, — продолжал Николя, усаживая Жерара на лучший стул — тот, что с мягкой подушкой. — Вы послушаете, как я научился за это время. Я специально для вас сыграю ту мелодию, которую вы меня учили на пианино. Только на скрипке.

— Я с удовольствием послушаю, — ответил Жерар, оглядываясь по сторонам.

Мать стояла у стола, прижимая руки к груди, и не знала, что сказать. Бабушка Зара смотрела на гостя своими чёрными глазами, и в них не было ни страха, ни недоверия — только любопытство.

— Месье Жерар, — сказала мать, — вы… вы голодны? У нас немного, но мы поделимся.

— Я пришёл не с пустыми руками, мадам, — ответил пианист и протянул вперёд свёрток в промасленной бумаге, который держал под мышкой.

Он развернул его. На стол легла буженина — большой, сочный кусок запечённого мяса, с золотистой корочкой, с прожилками жира, с ароматом чеснока и тимьяна. Такого мяса они не видели с начала войны.

— Господи, — выдохнула мать, прижимая руки к щекам. — Откуда?

— У меня были кое-какие запасы, — уклончиво ответил Жерар. — А в Новый год их надо тратить. Нечего копить, когда вокруг люди.

Он посмотрел на Николя, и глаза его потеплели.

— Ваш сын научил меня, что делиться — это не терять, а приобретать. Так что принимайте подарок. С наступающим Новым годом.

Мать перевела взгляд на отца. Тот кивнул.

— Садитесь, месье Жерар, — сказал отец, пододвигая ему тарелку. — Праздновать вместе веселее.

— Спасибо, — ответил пианист и сел.

Николя сиял. Он смотрел на Жерара, на его добрую, непривычную улыбку, и не верил своим глазам. Тот самый человек, который выгнал его из дома культуры, который смотрел с презрением и говорил, что цыганам не место в оркестре, — этот человек сидел за их семейным столом, улыбался и поздравлял их с Новым годом. Мир действительно менялся. И эти перемены были прекрасны.

Новый год прошёл замечательно.

Стол ломился от яств — для военного времени это было настоящее пиршество. Тушёнка, ветчина, буженина, квашеная капуста, свежий хлеб, а на десерт — яблочный пирог с хрустящей корочкой, который бабушка Зара испекла с осо-

бой любовью.

Жерар оказался совсем другим человеком, когда сидел за столом в тёплой компании. Он улыбался — постоянно, без перерыва, и эта улыбка делала его лицо моложе, светлее, почти красивым. Он рассказывал добрые анекдоты — старые, немного наивные, но такие смешные, что мать вытирала слёзы, отец трясся от хохота, а бабушка Зара, забыв про боль, звонко смеялась, обнажая чёрные провалы на месте вырванных зубов.

— А вот ещё один, — говорил Жерар, поднимая палец. — Сидят два музыканта в оркестре. Один спрашивает: "Ты почему такой грустный? Ведь Новый год!" А второй отвечает: "Понимаешь, я вчера всю ночь репетировал. А сегодня прихожу — а партитуру забыл". Первый говорит: "Ну и что? Ты же наизусть помнишь". А второй вздыхает: "Помню. Но дирижёр — нет!"

Все смеялись. Даже Николя, хотя он не до конца понял шутку, смеялся громче всех — потому что вокруг смеялись, потому что было хорошо, потому что сердце пело.

После ужина Николя взял скрипку.

Он встал посреди комнаты, поднёс инструмент к плечу и

закрыл глаза. В голове звучала мелодия — не та, которую он готовил для концерта, не та, которую учил с Жераром на пианино. Что-то своё, новое, родившееся здесь и сейчас. Из запаха пирога, из смеха матери, из доброй улыбки старого пианиста, из медной монетки в кармане.

Он заиграл.

Мелодия лилась тихая, светлая, как падающий за окном снег. В ней не было ни горечи, ни войны, ни утрат. Только надежда. Только вера в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Только любовь к этим людям, которые сидели вокруг и слушали его.

Мать плакала — тихо, не скрываясь, вытирая слёзы кончиком скатерти. Отец сидел, опустив голову, и его широкие, пропахшие металлом ладони лежали на столе неподвижно, как будто он боялся спугнуть музыку движением. Бабушка Зара улыбалась и кивала в такт, и её чёрные глаза светились.

А Жерар слушал с закрытыми глазами. Его длинные тонкие пальцы лежали на столе и чуть заметно двигались, будто играли на невидимых клавишах. Он был счастлив. По-настоящему счастлив — впервые за много лет.

Когда Николя закончил, в комнате повисла тишина. Тон-

кая, прозрачная, звенящая, как натянутая струна.

— Браво, — тихо сказал Жерар, открывая глаза. — Браво, мой мальчик.

Николя опустил скрипку и улыбнулся. Он чувствовал, как слёзы текут по его щекам — и не вытирал их. Это были счастливые слёзы.

Он был по-настоящему, по-детски счастлив. Счастлив, как только может быть счастлив мальчишка, у которого есть семья, есть друзья, есть музыка и есть Новый год, пахнущий яблоками и надеждой.

За окном пробили старые башенные часы — далеко, на другой стороне города, но звук долетел и сюда, приглушённый снегопадом, но отчётливый.

Полночь.

— С Новым годом! — сказал отец, поднимая стопку.

— С Новым годом! — хором ответили все.

Николя подбежал к матери, обнял её, потом отца, потом бабушку. А потом, не задумываясь, подошёл к Жерару и об-

нял и его — этого старого, хмурого пианиста, который оказался совсем не страшным, а очень даже добрым и одиноким человеком, которому тоже нужно было тепло.

Жерар замер на секунду, не зная, что делать. А потом его длинные руки медленно поднялись и обняли мальчика в ответ.

— С Новым годом, цыганёнок, — прошептал он. — С новым счастьем.

Николя чувствовал, как бьётся сердце старого пианиста — ровно, спокойно, и ему казалось, что он слышит музыку. Самую главную музыку на свете — музыку человеческого тепла.

За окном падал снег. И где-то далеко, наверное, тоже падал снег — на Лион, на фронт, на те города и деревни, где не было праздника, где ещё стреляли и умирали. Но здесь, в этой маленькой уютной квартире, сейчас была жизнь. Настоящая, живая, побеждающая всё на свете. И это было лучшим новогодним подарком.

19. Потеря - есть находка.

Снег сменился ясными прохладными днями, когда солнце

ослепительно искрилось на снегу, а воздух звенел от холода. Город потихоньку возвращался к обычной жизни — военной, голодной, но уже не такой безнадёжной, как раньше.

Николя гулял с друзьями дни напролёт. Они встречались каждое утро и расходились только затемно, когда на улицах зажигались редкие фонари и патрули строже следили за порядком. Луи, Пьер, Марк — без Тома, но с мыслями о нём, с обещаниями писать письма и верить в скорую встречу.

Иногда им удавалось заработать.

Кто-нибудь из соседей просил почистить двор от снега — и они хватались за лопаты, работали до седьмого пота, дышали паром в морозном воздухе и получали за это монетку, а иногда — конфету или маленький кусочек сала. Кто-то просил принести дров из сарая или натащить воды из колонки — и они бежали, наперегонки, стараясь первыми успеть, потому что платили не всем, а только самым быстрым.

Николя всегда приносил заработанное домой. Конфеты, монетки, редкие кусочки хлеба — всё, что удавалось получить, он выкладывал на стол перед матерью, и та улыбалась, пряча слёзы.

— Ты у меня золото, сынок, — говорила она, гладя его по

голове. — Не мальчик, а клад.

— Мы же семья, — отвечал Николя, пожимая плечами. — Мы всё делим. Всегда.

Он не говорил, сколько раз ему хотелось съесть конфету самому, не неся её домой. Не говорил, как иногда, возвращаясь с пустыми руками, он чувствовал себя виноватым. Просто делал то, что считал правильным.

Репетиции шли всё так же.

Люсьен Бернар, как всегда, требовал совершенства. Оркестр играл увереннее, слаженнее, и иногда, в самые удачные моменты, казалось, что все инструменты дышат одним дыханием. Даже Жерар за роялем перестал хмуриться и иногда — редко, но метко — отпускал шутки, от которых все улыбались, хотя боялись в этом признаться.

— Мы как семья, — сказал однажды Луи после репетиции, укладывая кларнет в футляр. — Настоящая семья. Где все друг друга знают, терпят и любят. Даже Жерара.

— Особенно Жерара, — усмехнулся Пьер, и они засмеялись, потому что это была чистая правда.

Николя тоже чувствовал это — тепло, которое разливалось по залу, когда они играли вместе. Чувство дома, которое не зависело от стен и крыши. Дом был там, где музыка. И где друзья.

Он не знал, что в это самое время в другом месте рушился другой дом, который он считал таким же крепким и нерушимым.

Мать Николя, Мари, в тот день пришла на работу как обычно.

Столовая, где она работала кухаркой, находилась в подвальном помещении старого завода. Здесь всегда было душно, пахло кислой капустой и прогорклым маслом, и даже в самые холодные дни печь накалялась так, что невозможно было вздохнуть.

В тот день Мари пришла пораньше, чтобы успеть подготовить всё к завтраку. Она разбирала крупу, когда заметила, что её коллега — женщина по имени Сильви, маленькая, шустрая, с вечно бегающими глазами, — оглядываясь по сторонам, сунула под фартук банку тушёнки и кусок масла.

Мари замерла.

— Сильви, — окликнула она тихо, чтобы никто не услышал.

Сильви вздрогнула, обернулась. Глаза её испуганно расширились.

— Ты что делаешь? — спросила Мари, подходя ближе. — Ты зачем крадёшь?

— Не твоё дело, — прошипела Сильви, прижимая фартук к животу. — Не суй свой нос, куда не просят.

— Но это не твоё, — настаивала Мари. — Это для рабочих. Им нужнее. Они целыми днями у станков, они…

— А моим детям не нужно? — перебила Сильви, и в голосе её зазвучала злость. — Ты думаешь, мне легко? Мои дома голодные сидят, а ты мне мораль читаешь? Цыганка, тоже мне, нашлась — учительница.

Она отвернулась и быстро пошла к выходу, оставив Мари стоять посреди кухни.

Мать Николя не пошла за ней. Не стала звать директора. Не стала никому рассказывать.

Ей было жалко Сильви. Жалко её детей, которые, может быть, и правда голодали. Война всех перемешала — и тех, кто ворует, и тех, кто работает честно. Мари не знала, как живёт Сильви. Не знала, есть ли у неё муж, есть ли хлеб на столе, есть ли надежда на завтра. И она промолчала.

Промолчала — и подписала себе приговор.

На следующий день она пришла на работу, как всегда, рано. На кухне ещё никого не было, только горела тусклая лампочка над плитой, и пар валил из котлов с кипящей водой.

Она уже надела фартук, когда дверь открылась. Вошёл директор завода — месье Рено, грузный, краснолицый, с вечно недовольным выражением лица. Он редко спускался на кухню, и его появление всегда означало что-то неприятное.

— Мари, — сказал он, не здороваясь. — Собирай вещи. Ты уволена.

Мари почувствовала, как земля уходит у неё из-под ног.

— Как уволена? — прошептала она. — За что?

Месье Рено вытащил из кармана помятый лист бумаги и

потряс им перед её лицом.

— За кражу, — сказал он холодно. — Вчера пропали продукты. Банка тушёнки и масло. Двое рабочих видели, как ты выходила с кухни с подозрительным свёртком.

— Это неправда! — выкрикнула Мари, и слёзы хлынули из её глаз. — Я ничего не крала! Это Сильви! Я видела, как она взяла, но я…

— Что — ты? — перебил директор, и в глазах его не было ни капли сочувствия. — Ты ничего не сказала? Не донесла? Значит, ты покрывала воровку. А значит, и сама воровка.

— Но я… я пожалела её, — всхлипнула Мари. — У неё дети, я думала…

— Ты думала? — месье Рено усмехнулся, и усмешка эта была жестокой, брезгливой. — Цыганка, ты не должна думать. Ты должна работать. А раз ты не умеешь ни того, ни другого — убирайся.

Мари сняла фартук дрожащими руками. Она хотела сказать ещё что-то — возразить, оправдаться, объяснить, — но слова застревали в горле. Директор смотрел на неё так, словно она была пустым местом. Или хуже — мусором, который

нужно вымести.

— Я… я буду жаловаться, — прошептала она, уже понимая, что это бесполезно.

— Жалуйся, — пожал плечами месье Рено, поворачиваясь к выходу. — Кому? Ты — цыганка. Никто не поверит цыганке.

Дверь захлопнулась.

Мари осталась одна на пустой кухне. Она постояла несколько секунд, чувствуя, как пол уходит из-под ног, а стены сжимаются, не пуская её. Потом осела на табурет, закрыла лицо руками и разрыдалась — громко, навзрыд, как плакала только в детстве, когда мир казался большим и страшным, а она — маленькой и беззащитной.

Она проревела весь день. Не могла остановиться. Слёзы текли сами, и она не вытирала их, потому что не было сил. Она не знала, что делать. Не знала, как скажет семье. Не знала, как они будут жить без её пайка, без её скудной, но такой нужной зарплаты.

Домой она вернулась поздно, с распухшим лицом и красными глазами. Семья уже сидела за столом, ждала её.

— Мама? — испуганно спросил Николя, увидев её лицо. — Мама, что случилось?

Мари села на стул, опустила голову и рассказала всё. Не скрывая, не приукрашивая, не пытаясь казаться сильнее, чем была. Рассказала про Сильви, про кражу, про молчание, про директора и про его последние слова: «Никто не поверит цыганке».

Когда она закончила, в комнате повисла тишина.

Николя смотрел на мать, и в груди у него всё клокотало от гнева — на ту женщину, на директора, на всю эту несправедливость. Ему хотелось кричать, топать ногами, бежать разбираться. Но он молчал, потому что мать плакала, и его гнев сейчас был не нужен.

Первым заговорил отец.

— Ты молодец, Мари, — сказал Клод тихо, и голос его не дрогнул. — Ты поступила по-человечески. Пожалела ту женщину, хотя она тебя не пожалела. Это дорогого стоит.

— Но я осталась без работы, — всхлипнула мать. — Что мы теперь будем делать?

— Мы будем жить, — твёрдо ответил отец. — Как жили до этого. Я получу зарплату, Николя что-то зарабатывает, бабушка — тоже. Не пропадём.

Он помолчал, потом наклонился к жене и взял её за руку.

— А ты, Мари, ты же у нас учительница, — сказал он. — Настоящая, с образованием. Ты не кухарка. Ты можешь работать в школе, как раньше.

Мать подняла заплаканные глаза.

— В школе?

— Ну да, — кивнул отец. — Французский и арифметику. Вон сколько детей без учителей сидят, война всех перемешала. Сходи в какую-нибудь школу, узнай. Может, и возьмут.

Николя подбежал к матери и обнял её.

— Мам, ты же так хорошо объясняешь, — сказал он, прижимаясь щекой к её плечу. — Лучше любого учителя. Я сам знаю.

Бабушка Зара, молчавшая всё это время, поднялась со

своей кровати. Она подошла к дочери, положила сухую, морщинистую руку на её голову и зашептала что-то по-цыгански — древние слова, которые Николя не понимал, но чувствовал их силу.

— Всё будет хорошо, Мари, — сказала она наконец по-французски. — Ты сильная. Ты справишься. А этот… — она махнула рукой в сторону двери, имея в виду директора и Сильви, — им всё припомнится. Не нами, так кем-то другим.

Мать вытерла слёзы, шмыгнула носом и слабо улыбнулась.

— Вы правы, — сказала она. — Завтра же пойду узнавать про школу. Не век же мне на кухне стоять.

Она вздохнула, глубоко, всей грудью, и Николя почувствовал, как напряжение понемногу отпускает её плечи.

— Спасибо вам, — сказала мать, глядя на мужа, на сына, на свою мать. — Спасибо, что вы у меня есть.

Николя обнял её крепче и закрыл глаза. В голове стучало: «Никто не поверит цыганке». Ему было больно слышать эти слова. Но он знал, что они неправда. Потому что он верил своей матери. Потому что отец верил. Потому что бабушка верила. И этого было достаточно. Хотя бы для начала.

20. Новая работа.

Наутро Мари встала затемно, она не спала почти всю ночь — ворочалась, вздыхала, смотрела в потолок, где плясали тени от уличного фонаря. Страх и надежда боролись в ней, не уступая друг другу. А вдруг не возьмут? А вдруг снова спросят про цыганские корни? А вдруг всё повторится?

Но когда за окном начало сереть, а первые петухи возвестили рассвет, она отбросила одеяло и решительно встала.

— Ты куда? — сонно спросил Клод, приподнимая голову с подушки.

— В школу, — ответила Мари, уже натягивая своё единственное приличное платье — то самое, которое берегла для праздников. — Как договаривались.

Клод кивнул, ничего не сказал, только сжал её руку на прощание. Коротко, по-мужски, но с такой силой, что Мари почувствовала: он верит в неё. Это было важнее любых слов.

Она вышла на улицу. Морозный воздух ударил в лицо, заставил поёжиться и плотнее закутаться в старенькое пальто. Снег, выпавший за ночь, хрустел под ногами, и следы её оди-

нокой фигуры тянулись за ней, как ниточка надежды.

Школа находилась в получасе ходьбы — недалеко, но в такую погоду дорога казалась длинной. Мари шла и думала о том, что скажет. Как объяснит, почему уволилась со старой работы? Врать не хотелось. Но и правда о краже, о Сильви, о несправедливости — она звучала слишком горько.

— Что будет, то будет, — прошептала она себе под нос, толкая тяжёлую дверь школы.

Здание было относительно целым — война пощадила его, хотя следы времени и непогоды виднелись повсюду. Штукатурка местами облупилась, крыльцо покосилось, но стекла в окнах были целы, и дверь не скрипела. Мари вошла в вестибюль. Внутри было холодно — отопление работало с перебоями, и дети, наверное, мёрзли на уроках. Она заметила, что стены украшены детскими рисунками — яркими, неумелыми, но живыми. Цветы, солнце, домики с трубами. Мир, которого не было снаружи, но который продолжал жить здесь, между этими стенами.

Дети ходили в верхней одежде — пальто и куртки не снимали даже на уроках, потому что прогреть огромные классы было почти невозможно. Мари смотрела на них — маленьких, серьёзных, с глазами, которые видели слишком много

для своего возраста, — и сердце её сжималось.

Она уже хотела спросить у кого-нибудь, где найти директора, как заметила проходящую мимо молодую девушку. Та была в длинной юбке и тёплом свитере, с папкой бумаг под мышкой и деловитым, сосредоточенным видом.

— Мадемуазель! — окликнула Мари, делая шаг вперёд. — Простите, что отвлекаю.

Девушка обернулась. У неё было приятное, открытое лицо с веснушками на носу и каштановыми волосами, стянутыми в небрежный пучок.

— Да? — спросила она доброжелательно.

— Я хотела узнать, — Мари перевела дыхание, — к кому можно обратиться, чтобы работать здесь учителем?

Девушка улыбнулась — широко, искренне, так, словно ждала этого вопроса всю жизнь.

— Вы вовремя, — сказала она. — Нам очень нужны учителя. Пойдёмте, я отведу вас к директору.

Мари почувствовала, как у неё отлегло от сердца. Хотя бы

шаг сделан. Хотя бы дверь открыта.

Девушка провела её по длинному коридору, мимо классов, из которых доносились приглушённые голоса — где-то читали стихи, где-то решали примеры, где-то царила тишина, нарушаемая скрипом перьев по бумаге. Пахло деревом, мелом и чем-то ещё старым, школьным, довоенным.

— Сюда, — сказала девушка, останавливаясь перед неприметной дверью с табличкой «Директор».

Она постучала.

— Войдите, — послышался голос — негромкий, но приятный, с хрипотцой.

Девушка приоткрыла дверь, заглянула:

— Месье Робер, к вам посетительница. Хочет работать учителем.

— Заходите, заходите, — отозвался голос.

Мари шагнула через порог и оказалась в маленьком кабинете.

Она ожидала увидеть что-то помпезное — тяжёлую мебель, дорогие безделушки, кожаное кресло. Но директорский кабинет оказался удивительно скромным. Простой деревянный стол, заваленный бумагами, два старых стула, этажерка с книгами в потрёпанных переплётах и узкое окно, сквозь которое пробивался бледный зимний свет. Ничего лишнего. Ничего, что напоминало бы о стереотипном начальственном богатстве.

За столом сидел директор.

Он был невысокого роста, почти маленький, согбенный годами, но его глаза — добрые, глубокие, с лучиками морщин по углам — смотрели на Мари с таким вниманием и теплом, что она вдруг перестала бояться.

— Месье Робер? — спросила она, подходя ближе.

— К вашим услугам, мадам, — ответил он, вставая — вернее, приподнимаясь, потому что рост и так не позволял ему возвышаться. — Присаживайтесь, пожалуйста.

Он указал на стул, сам сел напротив, сложив на столе свои руки — морщинистые, с узловатыми пальцами, такими же старыми и мудрыми, как он сам.

— Вы хотите работать у нас учителем? — спросил он без предисловий. — Расскажите о себе.

Мари сглотнула. Она готовила эту речь всю дорогу, а теперь слова куда-то разбежались, испугавшись ответственности.

— Меня зовут Мари, — начала она тихо. — Я… я раньше преподавала. До войны. Французский язык и арифметику. В школе, недалеко отсюда, но её разбомбили в сорок первом. Я осталась без работы, пошла в столовую на завод, но теперь… теперь я снова хочу вернуться к детям.

Она умолчала о краже, об увольнении, о цыганских корнях. Не потому, что хотела обмануть — просто это было неважно. Важно было то, что она умела учить. Что она любила детей. Что она хотела делать то, для чего родилась.

Месье Робер слушал, не перебивая. Его добрые глаза смотрели на неё внимательно, но без осуждения. Пальцы его, морщинистые и узловатые, лежали на столе неподвижно, и Мари вдруг подумала, что такими пальцами, наверное, приятно держать детскую руку.

— Французский и арифметика, — повторил он, когда она закончила. — Это хорошо. Это очень нужно.

Он помолчал, постукивая пальцами по столешнице.

— Мадам Мари, вы не представляете, как я вам благодарен, — сказал он, и в голосе его прозвучала такая искренность, что Мари почувствовала, как у неё защипало в глазах. — Дети скучали без учителя. У нас был один преподаватель, но он ушёл на фронт. А второй… вторая заболела и не вернулась. Дети остались без французского и арифметики. Сидят, читают старые учебники сами, кто что понимает.

Мари слушала, затаив дыхание.

— Где же вы раньше были, мадам Мари? — спросил месье Робер, и в голосе его прозвучал мягкий укор. — Мы бы вас с руками оторвали.

— Я… я не знала, — ответила она честно. — Думала, что школы закрыты, что нет работы. А недавно муж подсказал попробовать.

— Мудрый у вас муж, — кивнул директор. — Что ж, вот вам моё предложение.

Он откинулся на спинку стула, задумался на секунду.

— Вы будете вести занятия у маленьких детей. Самых маленьких, тех, кто только учится читать и писать. Занятия до обеда — после обеда помещение нужно для других групп, у нас тесно. Пайка будет маленькая, война всё-таки, но каждый день — талоны на продукты. Хлеб, крупа, иногда молоко, если повезёт.

Он посмотрел на Мари поверх очков.

— Вас это устраивает?

Мари не верила своим ушам. Талоны на продукты. Каждый день. И работа — настоящая работа учительницей, которую она так любила, о которой столько мечтала в эти долгие военные годы.

— Да, — выдохнула она. — Да, конечно, устраивает. Большое спасибо, месье Робер.

— Не благодарите, — махнул он рукой. — Это я вам спасибо должен сказать.

Он зашуршал бумагами, достал чистый лист, обмакнул перо в чернила.

— Заполним анкету, и завтра можете приступать, — ска-

зал он. — Придёте к восьми утра. Детей предупрежу, что у них новая учительница. Они будут рады.

Мари кивнула, чувствуя, как слёзы счастья подступают к горлу. Она сдерживалась, не хотела плакать при посторонних, но внутри всё трепетало.

Месье Робер заполнил бумаги, поставил подпись, протянул ей тоненькую книжечку — талонную.

— Вот, — сказал он. — Это ваш пропуск. Сегодня же можете получить свой первый паёк. Небогатый, но честный.

Мари взяла книжечку дрожащими пальцами. Прижала её к груди, как самую большую драгоценность.

— Спасибо, — прошептала она ещё раз. — Спасибо, месье Робер. Вы даже не представляете, что вы для меня сделали.

— Представляю, — ответил он, и в глазах его мелькнула грусть. — У меня самого дочка, примерно как вы. Она в эвакуации, в Сибири. Писем давно не было. Я каждый день молюсь, чтобы с ней всё было хорошо.

Он помолчал, потом снова улыбнулся — той доброй, чуть

усталой улыбкой, которая так шла его морщинистому лицу.

— Так что идите, мадам Мари. И завтра — к восьми. Дети будут ждать.

Мари встала, попрощалась и вышла из кабинета. Девушка с веснушками всё ещё стояла в коридоре, прислонившись к стене.

— Ну что? — спросила она.

— Берут, — выдохнула Мари. — Завтра уже начинаю.

— Поздравляю! — девушка просияла. — Я же говорила — нам очень нужны учителя.

Они обменялись улыбками, и Мари направилась к выходу.

На улице снова падал снег — лёгкий, пушистый, совсем не холодный. Мари подняла лицо к небу, закрыла глаза и подставила его снежинкам. Ей казалось, что сегодняшний день — самый счастливый в её жизни за последние годы.

Она вспомнила слова директора: «Где же вы раньше были?» — и улыбнулась. Раньше она была там, где нужно было выживать. А теперь — она там, где нужно было жить.

Она достала из кармана талонную книжечку, ещё раз посмотрела на неё, спрятала обратно и зашагала домой — быстрее, быстрее, чтобы рассказать семье, что у неё снова есть работа.

Настоящая работа. Учительская.

И завтра утром она снова услышит, как скрипят перья по бумаге, как шелестят страницы учебников, как детские голоса хором читают стихи. Она снова будет учить их французскому и арифметике. Она снова будет нужной. Она снова будет собой.

Вся семья была рада появлению новой работы мамы.

Вечером, когда Мари вернулась домой и рассказала о встрече с добрым директором, о маленьких учениках, о талонах на продукты и о том, что завтра она снова станет учительницей, — на лицах её родных засияли такие улыбки, каких Николя не видел очень давно.

— Ты справишься, — сказал отец, обнимая её. — Ты лучшая учительница, которую я знаю. Хотя я не учился у тебя, но это точно.

— Мамочка, я так за тебя рад, — прошептал Николя, прижимаясь к ней. — Ты будешь самой любимой учительницей у всех детей.

Бабушка Зара молчала, но её чёрные глаза блестели, и она несколько раз перекрестила дочь по-своему, по-цыгански, шепча что-то древнее и доброе.

В тот вечер они снова сидели за столом дольше обычного. Говорили о школе, о детях, о будущем. Отец вспоминал своего первого учителя — строгого, но справедливого старика, который научил его не только грамоте, но и честности. Николя рассказывал про свои занятия с матерью дома — про то, как быстро она объясняла, как терпеливо поправляла, как радовалась его успехам.

— Ты прирождённый педагог, Мари, — сказал Клод. — Дети это почувствуют.

Мать улыбалась, но в глазах её всё ещё теплилось лёгкое беспокойство. Первый рабочий день — всегда волнительно. Даже если за плечами годы опыта и любовь к делу.

— Всё будет хорошо, — сказала она себе, когда легла спать. — Всё будет хорошо.

21. Первая встреча с детьми.

Утром она встала затемно, раньше всех - долго крутилась перед маленьким зеркальцем, поправляя воротник платья и приглаживая волосы. Николя, проснувшийся от шума, смотрел на неё со своей кровати и улыбался в подушку. Мама была красивой. Очень красивой. Особенно когда готовилась к чему-то важному.

— Удачи, мам, — сказал он сонно.

— Спасибо, сынок, — ответила она, поцеловала его в лоб и вышла за дверь.

На улице было морозно, но солнце уже поднималось, заливая снег розоватым светом. Мари шла быстрым шагом, прижимая к груди потрёпанную сумку с учебниками и тетрадями. Сердце колотилось где-то у горла — не от страха, а от предвкушения. Она возвращалась к себе. К той жизни, которая была у неё до войны. К детям.

В школе было холодно, как всегда. Дети сидели в пальто и шапках, дышали паром и ёжились на деревянных стульях. Но глаза их горели — живым, детским любопытством.

Мари вошла в класс и остановилась у порога.

За партами сидели маленькие дети. Лет семи, не больше. Совсем недавно они пришли в школу — робкие, неуверенные, но уже такие взрослые, какими война заставляет взрослеть слишком рано. Их лица были бледными, под глазами — синяки от недосыпа и недоедания, но на губах играли улыбки, когда они увидели новую учительницу.

— Здравствуйте, дети, — сказала Мари, стараясь, чтобы голос звучал ровно и спокойно, хотя внутри всё трепетало.

— Здравствуйте! — хором ответил класс.

Нестройно, кто-то громче, кто-то тише, кто-то шепотом, потому что стеснялся. Но в этом хоре было столько жизни, столько надежды, что у Мари защипало в глазах.

Она прошла к учительскому столу, положила сумку, оглядела класс. Маленькие лица смотрели на неё с огромным любопытством, как на что-то новое, незнакомое, но явно хорошее.

Одна девочка на первой парте — русоволосая, с косичками и огромными голубыми глазами — не выдержала первой.

— А вы правда наша новая учительница? — выпалила

она, забыв про всякие приличия.

— Правда, — улыбнулась Мари.

— А вы добрая? — спросил мальчик с заднего ряда, с вихрастыми волосами, торчащими из-под вязаной шапки.

— Постараюсь быть, — ответила учительница, и класс одобрительно зашумел.

— А я умею читать! — похвасталась девочка с косичками, не в силах сдерживать радость. — Я уже целую книжку прочитала! Маленькую, но целую!

— Молодец, — сказала Мари. — Мы обязательно это проверим. И я уверена, что ты прочитаешь ещё много книжек.

— А я умею считать до миллиона! — выкрикнул мальчик с заднего ряда, и в голосе его звучало столько гордости, что весь класс засмеялся. — Честно-честно! Раз, два, три, четыре…

— Я тебе верю, — остановила его Мари с улыбкой. — Но давай не будем тратить время на счёт до миллиона, а то урока не хватит.

Дети захихикали. Напряжение, которое было в первые секунды, растаяло, как снег на ладони.

Мари выдохнула. Она почувствовала, что эти маленькие, голодные, замёрзшие, но такие живые дети приняли её. Сразу, безоговорочно, как принимают всё доброе и светлое, потому что в их жизни добра и света было слишком мало.

— Дети, — сказала Мари, становясь серьёзнее. — Я хочу вам кое-что объяснить.

Класс затих.

— Обучение всегда начинается с дисциплины, — продолжила она. — Это не значит, что я буду на вас кричать или ругать. Это значит, что мы должны уважать друг друга. Если вы хотите что-то рассказать или спросить — поднимайте руку. И тогда я вас обязательно услышу. И все остальные тоже услышат. Договорились?

— Договорились! — снова хором ответили дети.

Русоволосая девочка тут же подняла руку — высоко, почти вскочив с места.

— Да, пожалуйста, — кивнула Мари.

— А можно спрашивать про всё на свете? — спросила девочка серьёзно. — Про что угодно?

— Про что угодно, — подтвердила Мари. — Я отвечу на все ваши вопросы. Если не буду знать ответа — мы поищем его вместе в книгах.

— А если ночью? — спросил вихрастый мальчик, и в голосе его прозвучало что-то озорное.

— Если ночью — приходите, — улыбнулась Мари. — Я буду спать, но для вас проснусь. И мы всё обсудим.

Класс засмеялся, но смех этот был добрым, тёплым, каким-то домашним. Дети переглядывались, подталкивали друг друга локтями, шептались. Они ещё не знали, какая эта новая учительница — строгая или мягкая, сердитая или весёлая. Но уже чувствовали, что она — своя.

— Я хочу вам кое-что пообещать, — сказала Мари, и голос её стал тише, но от этого только весомее. — Я постараюсь сделать так, чтобы вы запомнили школу только с хорошей стороны. Чтобы через много лет, когда вы вырастете и у вас будут свои дети, вы вспоминали эти годы с добротой и любовью. Вспоминали с теплом, а не с дрожью. Вспоминали

как время, когда вам было интересно, когда вас понимали и когда вы не боялись задавать вопросы.

Она обвела взглядом класс — каждое лицо, каждые глаза, каждые маленькие ладошки, лежащие на партах.

— Война забирает многое, — продолжила она. — Но школа — это место, где война должна отступать. Здесь, в этом классе, мы будем учиться, мечтать и верить, что завтра наступит мир. И он наступит. Я вам обещаю.

В классе стало очень тихо.

Дети смотрели на неё с таким вниманием, с такой доверчивостью, что у Мари перехватило дыхание. Она увидела в этих глазах не просто любопытство — она увидела надежду. Ту самую, ради которой стоило жить, работать, учить и любить.

Русоволосая девочка подняла руку. Медленно, чуть застенчиво.

— Мадам учительница, — сказала она, и голос её дрогнул. — А вы останетесь с нами? Надолго?

Мари подошла к её парте, присела на корточки, чтобы

быть на одном уровне с ребёнком, и взяла её маленькую, холодную ладошку в свои.

— Я останусь с вами, — сказала она твёрдо. — Надолго. На очень долго. Вы теперь — мои ученики. А я — ваша учительница. И это навсегда.

Девочка улыбнулась. И в этой улыбке было всё: и благодарность, и радость, и чуть-чуть слёз, которые она прятала, потому что была уже большой.

Мари встала, вернулась к столу, открыла первую страницу классного журнала.

— Ну что, — сказала она, — начнём? Откроем тетради, возьмём в руки перья. Сегодня мы напишем самое главное слово, с которого начинается учёба. Слово «мир».

Дети зашуршали тетрадями, заскрипели перьями. Маленькие пальцы выводили буквы — кривые, неуверенные, но такие старательные.

А Мари смотрела на них и чувствовала, как счастье переполняет её сердце. Счастье быть нужной. Счастье быть учительницей. Счастье быть собой. Она вернулась домой.

Настал февраль.

Месяц выдался снежным и прохладным, но в воздухе висело что-то особенное, тревожное и радостное одновременно. Люди на улицах говорили громче, улыбались чаще, останавливали друг друга, чтобы поделиться новостями. С фронта приходили сводки — одна лучше другой. Немцы отступали. Союзники наступали. Говорили, что война может закончиться уже весной, а может, и раньше.

Бомбёжек не было уже давно — город спал спокойно, и дети перестали просыпаться от воя сирен. Архитектура Парижа потихоньку восстанавливалась: заколоченные витрины открывались, разбитые стёкла заменялись новыми, и даже на улицах стало светлее — то ли потому, что фонари чинили, то ли потому, что люди наконец подняли головы.

Дом культуры тоже готовился к переменам. В актовом зале побелили потолок, починили несколько стульев, даже повесили новые шторы — небогатые, но чистые, пахнущие крахмалом и надеждой.

— У нас будет концерт, — объявил Люсьен Бернар на репетиции, и в голосе его звучала особая торжественность. — Завтра. Для детей.

Оркестр оживился, зашумел.

— Для детей? — переспросил кто-то.

— Для самых маленьких, — кивнул дирижёр. — Школы пришлют своих учеников. Мы должны сыграть так, чтобы они запомнили этот день навсегда. Не как военный, а как праздничный.

Николя слушал и улыбался. Дети — это было что-то близкое, родное. Он сам был ребёнком, хотя война и заставляла его чувствовать себя взрослым. Он знал, как важна музыка для тех, кто растёт в страхе и голоде.

Вечером, когда он вернулся домой, мать встретила его у порога с загадочной улыбкой.

— Николя, — сказала она, — а мы завтра идём к вам на концерт.

— Как это? — не понял он.

— Вся школа, — пояснила мать. — Месье Робер сказал, что мы должны поддержать местный оркестр. Детям нужны положительные эмоции. Так что завтра я приду смотреть на тебя.

Николя почувствовал, как сердце его подпрыгнуло от радости.

— Мама, я же буду выступать! — воскликнул он. — Я сыграю для тебя! И для твоих учеников!

— Я знаю, сынок, — мать погладила его по голове. — Я знаю. И очень горжусь тобой.

Он не спал почти всю ночь. Лежал в темноте, смотрел в потолок и представлял, как завтра выйдет на сцену, как поднимет скрипку, как мать будет смотреть на него из зала. Это придавало сил. Это делало концерт особенным.

На следующий день актовый зал дома культуры был полон.

Сотни маленьких детишек — в пальто, в шапках, в варежках с продёрнутыми нитками, — сидели на стульях, сбившись в группки, перешёптываясь и толкаясь. Их глаза горели любопытством. Многие из них никогда не были на концертах. Многие никогда не видели настоящего оркестра.

Мать сидела в третьем ряду, среди своих учеников. Она обернулась, увидела Николя, стоящего за кулисами, и чуть

заметно кивнула. Он кивнул в ответ.

Люсьен Бернар вышел на сцену, поднял руки, и зал постепенно затих — даже самые шумные малыши притихли, почувствовав торжественность момента.

— Дорогие дети, — сказал дирижёр, — сегодня для вас играет наш оркестр. Слушайте, радуйтесь, запоминайте. Музыка — это то, что всегда с вами. Даже когда трудно. Даже когда страшно. Она лечит, она утешает, она дарит надежду.

Он взмахнул палочкой — и зазвучала музыка.

Николя играл, как никогда в жизни. Он старался выступить на максимум, выложиться до последней ноты, до последнего дыхания. Пальцы его бегали по струнам с невероятной лёгкостью, смычок пел, скрипка плакала и смеялась вместе с оркестром.

Он играл для этих детей. Для тех, кто потерял детство, но не потерял способность улыбаться. Для тех, кто верил, что завтра будет лучше.

Время от времени он останавливался взглядом на матери. Она сидела среди своих учеников, и её глаза были влажными. Николя чуть заметно подмигивал ей — быстро, чтобы

никто не заметил, — и мать улыбалась, вытирая слёзы кончиком платка.

Маленькая девочка с косичками — та самая, которая первой заговорила в классе, — сидела рядом с Мари и смотрела на сцену с открытым ртом. Ей казалось, что она попала в сказку. И от этой сказки у неё кружилась голова и щипало в носу.

Николя видел её. Играл для неё. И для всех остальных — таких же маленьких, таких же голодных, таких же жаждущих чуда.

Концерт закончился под гром аплодисментов. Дети хлопали так сильно, что у них покраснели ладошки. Кто-то кричал «браво!», хотя не знал точно, что это значит. Кто-то просто визжал от восторга.

Люсьен Бернар раскланялся, музыканты встали, и зал снова взорвался овациями.

Николя положил скрипку, вытер пот со лба и посмотрел в зал. Мать всё ещё сидела на своём месте, держала за руки двух своих учениц и улыбалась. Улыбалась ему.

— Ты молодец, — сказал он сам себе. — Ты справился.

Вечером, когда они остались вдвоём в кухне — мать мыла посуду, Николя вытирал тарелки, — Мари вдруг задумалась.

Она выключила воду, вытерла руки о фартук и села на табурет напротив сына.

— Николя, — сказала она тихо. — Ты когда-нибудь думал о том, кем хочешь стать после войны?

Николя отложил полотенце.

— Думал, — ответил он. — Я хочу продолжать музыку. Играть в оркестре, выступать на сцене, дарить людям радость. Это моё. Я это чувствую.

Мать кивнула, внимательно слушая.

— Но я не знаю где, — продолжил Николя, пожимая плечами. — В каком городе, в каком оркестре. Может, в Париже. Может, в другом месте. Главное — чтобы музыка была.

Мать помолчала, собираясь с мыслями.

— Сынок, — сказала она осторожно, как будто боялась спугнуть важную мысль. — А ты не думал о том, чтобы стать

учителем музыки?

Николя поднял на неё глаза.

— Учителем?

— Ну да, — мать улыбнулась. — Ты так хорошо объясняешь, когда показываешь что-то на скрипке. Ты терпеливый, добрый, открытый. Дети тебя любят. Я видела, как они смотрят на тебя во время концерта. Как заворожённые.

Она вздохнула.

— С твоей добротой и открытостью это очень хорошо выйдет. Ты мог бы учить детей музыке. Не только играть на сцене, но и передавать своё мастерство другим. Разве это не прекрасно — вырастить новое поколение музыкантов?

Николя молчал. В голове его что-то щёлкнуло, будто замок открылся. Он никогда не думал об этом. Учитель музыки? Он? Но чем больше он думал, тем яснее видел картину: маленький класс, дети с инструментами в руках, он стоит перед ними и показывает, как правильно держать смычок. Как извлекать звук. Как вкладывать в музыку душу.

И дети смотрят на него такими же горящими глазами, ка-

кими смотрели сегодня его мамины ученики.

— Мам, — сказал он тихо, и голос его дрогнул от волнения. — А ты думаешь, у меня получится?

— Уверена, — ответила мать твёрдо. — Ты родился для этого, Николя. Для музыки и для доброты. Учить детей — это продолжать музыку. Даже когда ты сам не будешь на сцене, твоя музыка будет жить в твоих учениках. И в их учениках. И так — вечно.

Николя опустил глаза. В груди у него разгорался огонь — тёплый, яркий, совсем новый. Он никогда не мечтал быть учителем. Но сейчас, в эту минуту, эта мечта вдруг стала самой главной.

— Я… я подумаю, — сказал он. — Очень много подумаю.

Мать не стала больше ничего говорить. Она встала, поцеловала сына в макушку и вышла из кухни, оставив его одного с мыслями.

Николя сидел за столом, смотрел на потухшую плиту, на замерзшее окно, на пляшущие тени от керосиновой лампы. И думал.

Он думал о том, как будет стоять у доски, писать ноты мелом, объяснять гаммы и интервалы. Как будет слушать, как его ученики играют первую в своей жизни мелодию — робкую, сбивчивую, но такую дорогую. Как будет гордиться их успехами, как если бы они были его собственными.

Он представлял, как однажды, через много лет, кто-то из его учеников выйдет на большую сцену, поклонится залу, а потом подойдёт к нему, старому учителю, и скажет: «Это вы научили меня музыке. Это вы дали мне крылья».

И от этих мыслей у него кружилась голова и сладко замирало сердце.

Весь вечер он фантазировал. Он видел себя в маленьком классе с высокими окнами, где играет солнце. Видел детей — разных, шумных, непослушных, но таких любимых. Видел, как они растут, как их пальцы становятся увереннее, как музыка заполняет их души.

Он лёг спать поздно, но долго не мог уснуть. Ворочался, смотрел в тёмный потолок и улыбался.

— Учитель музыки, — прошептал он в темноту, пробуя слова на вкус. — Учитель музыки.

Звучало правильно. Звучало как дом.

За стенкой бабушка Зара тихонько напевала свою колыбельную, а за окном падал снег, укрывая город белым, чистым покрывалом. Война ещё не кончилась, но конец её уже маячил на горизонте, как первые лучи рассвета после долгой ночи.

Николя закрыл глаза и провалился в сон. И во сне он снова видел себя в классе, полном детей. Он учил их играть на скрипке. И дети улыбались. Все до одного.

22. Настоящий Луи.

На следующий день Николя пришёл на репетицию раньше обычного. В актовом зале было тихо и пусто — только Луи сидел на своём месте, крутил в руках кларнет и насвистывал какую-то мелодию. Увидев друга, он отложил инструмент и хлопнул ладонью по соседнему стулу.

— Садись. Ты чего такой задумчивый?

Николя сел, положил футляр со скрипкой на колени и помолчал несколько секунд.

— Луи, я хочу тебе кое-что сказать.

— Говори.

— Мама вчера спросила меня, кем я хочу стать после войны, — начал Николя, глядя куда-то в пол. — Я сказал, что хочу продолжать музыку, но не знаю, где. А она предложила… она предложила стать учителем музыки. Для детей.

Он поднял глаза на друга. Луи слушал внимательно, не перебивая.

— И знаешь, я всю ночь об этом думал, — продолжил Николя, и голос его зазвучал твёрже. — Мне кажется, это правильная мысль. Я хочу учить детей. Хочу, чтобы они полюбили музыку так же, как люблю её я. Хочу, чтобы у них была возможность играть, даже если война забрала у них детство.

Луи молчал несколько секунд, потом его лицо озарилось широкой улыбкой.

— Николя, это же замечательно! — воскликнул он, хлопая друга по плечу. — Тебе правда подойдёт такая работа. Ты умеешь объяснять, умеешь терпеливо ждать, умеешь радоваться чужим успехам. Я тебя таким всегда знал.

— Правда? — спросил Николя, чуть смущаясь.

— Абсолютная правда, — кивнул Луи. — Ты будешь лучшим учителем музыки в Париже. А может, и во всей Франции.

Он откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и мечтательно уставился в потолок.

— А вот я… я думаю о другом.

— О чём? — заинтересовался Николя.

— О море, — сказал Луи, и в голосе его прозвучала такая тоска по чему-то далёкому, неизведанному, что Николя невольно замер. — Я хочу стать моряком, Николя. Хочу бороздить бескрайние моря, видеть разные страны, дышать солёным ветром, стоять на палубе, когда вокруг только вода и небо.

Николя смотрел на друга, и перед глазами у него возникали картины: огромные корабли, белые паруса, далёкие горизонты.

— Ты никогда не говорил об этом, — сказал он тихо.

— Не говорил, — согласился Луи. — Родителям я тем

более не говорил. Они хотят, чтобы я остался в оркестре, играл в филармонии, делал карьеру. А я… я не знаю. Музыка — это моя жизнь, это правда. Но море — это моя мечта.

Он повернулся к Николя, и в глазах его горел тот самый огонь, который Николя видел только во время самых лучших концертов.

— Может, я смогу совмещать, — задумчиво сказал Луи. — Играть в портовых кабаках, на кораблях, в дальних странах. Или просто для себя. Для души.

— В этом есть романтика, — сказал Николя. Он сам чувствовал, как его сердце отзывается на эту мечту — на простор, на свободу, на ветер перемен. — Когда ты поплывёшь, обязательно присылай мне открытки из тех мест, куда доберёшься.

— Обязательно, — улыбнулся Луи. — А ты меня научишь играть на скрипке, если у меня когда-нибудь будут дети.

Они оба засмеялись. Смех их разносился по пустому залу, отражался от стен и возвращался к ним тёплым, живым эхом.

Потом Луи замолчал, посерьёзнел и сказал:

— А давай напишем Тома.

Николя удивился:

— Прямо сейчас?

— А почему нет? — пожал плечами Луи. — Расскажем ему про твою мечту стать учителем, про мою — стать моряком. Спросим, о чём мечтает он. Вдруг он тоже уже решил? Вдруг у него тоже есть планы на жизнь после войны?

Николя почувствовал, как внутри разливается тепло. Тома был далеко, но они всё равно могли говорить с ним — через письма, через слова, через те ниточки, которые протянулись между ними и не рвались, несмотря на расстояние.

— Давай, — согласился он. — Прямо сейчас.

Они сбегали в чайную комнату, нашли там старую, почти дописанную тетрадь, чистый лист бумаги, конверт и чернила, которые не замёрзли — чудом, наверное.

Николя взял перо, обмакнул его в чернильницу и вывел первое слово:

«Дорогой наш Тома…»

Они писали вместе — Николя водил пером, а Луи диктовал, перебивал, добавлял, снова диктовал. Иногда они спорили, как лучше сказать, иногда замолкали, задумавшись, а потом снова начинали. Буквы ложились на бумагу неровно — торопливые, но живые.

«Дорогой наш Тома! — писал Николя. — Как ты там, в своём Лионе? Как твои новые друзья? Как Габриэль? Мы по тебе очень скучаем.

Сегодня мы с Луи сидели и говорили о том, кем хотим стать после войны. Я, наверное, буду учителем музыки для детей. Луи говорит, что мне это подойдёт. А сам он хочет стать моряком — представляешь? Говорит, что хочет бороздить моря и видеть дальние страны. Я сказал ему, что в этом есть романтика. И правда есть.

А ты, Тома? Ты думал о том, кем хочешь стать? Напиши нам. Нам очень интересно. Мы всё ещё ждём нашей встречи под старым дубом. Когда закончится война — а она уже скоро закончится, все это говорят, — мы обязательно встретимся. И ты нам всё расскажешь.

Обнимаем тебя крепко-крепко.

Твои друзья — Николя и Луи».

Николя перечитал письмо, поправил пару ошибок и протянул лист Луи.

— Нормально?

— Более чем, — ответил Луи. — Давай конверт.

Они аккуратно сложили письмо, запечатали конверт, написали адрес — тот самый, который прислал Тома в прошлый раз. Лион, название улицы, номер дома.

— Дойдёт? — спросил Николя, с сомнением глядя на конверт.

— Дойдёт, — уверенно сказал Луи. — Война заканчивается, почта работает. Через неделю-другую он его получит.

Они вышли на улицу и опустили письмо в почтовый ящик на углу. Железный, облупившийся, проржавевший — но всё ещё стоящий. Как и они. Как их дружба.

— Интересно, что он ответит, — сказал Николя, глядя на закрывающуюся створку.

— Узнаем, — ответил Луи, засовывая руки в карманы. — Узнаем, когда придёт ответ.

Они пошли по заснеженной улице, и снег хрустел под их ногами. Февральское солнце пробивалось сквозь низкие облака, и в городе, несмотря на холод, чувствовалось что-то весеннее — скорое, светлое, обещающее перемены.

Николя думал о письме, которое улетело в Лион. О том, как Тома прочитает его, улыбнётся, возьмёт перо и начнёт писать ответ. О том, как их мечты — учитель музыки, моряк, и неведомая пока мечта Тома — будут жить на этих страницах, перелетая от одного друга к другому.

Он подумал о том, что даже война не может убить мечты. Они прячутся где-то глубоко, ждут своего часа, а потом — когда приходит время — прорастают, как первые весенние цветы из-под снега.

— Луи, — сказал он вдруг.

— А?

— Мы обязательно встретимся. Все вместе. И расскажем друг другу, как исполнили свои мечты.

Луи остановился, повернулся к нему и улыбнулся — широко, открыто, как умел только он.

— Обязательно, — сказал он. — Я буду махать тебе с палубы корабля, когда мы будем заходить в родной порт. А ты будешь стоять на причале со своей скрипкой. И сыграешь что-нибудь красивое. Нашу мелодию.

Николя кивнул. Он не знал, что это будет за мелодия. Но знал, что обязательно её сочинит. Об их дружбе. О надежде. О том, что даже в самые тёмные времена можно мечтать о светлом.

Они пошли дальше, оставляя на снегу две цепочки следов. Рядом. Вместе. Как всегда.

Дни летели быстро, словно кто-то ускорил время, чтобы поскорее приблизить весну. Снег потемнел, осел и начал таять, превращаясь в грязные лужи и звонкие ручьи, которые бежали по обочинам, торопясь куда-то по своим весенним делам. С крыш свешивались длинные сосульки, сверкающие на солнце хрустальными кинжалами, и с каждым часом они становились тоньше, плакали, роняли на землю прозрачные капли.

Воздух переменился. Он больше не кусался морозом, не пробирал до костей — в нём появилась та мягкая, ласковая свежесть, которая бывает только в начале весны, когда ещё не тепло, но уже и не холодно, когда хочется дышать глубоко, срывая с губ улыбку без всякой причины.

Город оживал. Люди снимали тяжёлые зимние пальто, прятали в шкафы валенки и шарфы, улыбались чаще, здоровались громче. Война ещё не кончилась, но все чувствовали — она отступает. Как снег. Как холод. Как страх.

Мама Николя, Мари, радовалась каждому новому дню, ведь новая работа учительницей оказалась для неё настоящим спасением. Она просыпалась по утрам с лёгким сердцем, собиралась не спеша, пила чай, глядя в окно на тающий снег, и думала о том, как сегодня её маленькие ученики снова встретят её улыбками.

Она приходила в школу за полчаса до начала уроков — не потому, что боялась опоздать, а потому, что ей нравилось быть там. Ей нравилось раскладывать тетради, проверять старые задания, писать на доске тему урока, готовить мел и тряпку. Эти маленькие, привычные, такие мирные дела наполняли её душу покоем.

Дети — эти маленькие, серьёзные, чуть испуганные созда-

ния — тянулись к ней. Они рассказывали ей свои истории: кто нашёл на улице замёрзшего воробья и отогрел его в варежке, кто помог маме нести тяжёлые сумки, кто научился читать новое слово. Иногда истории были грустными — о папах, которые не вернулись с фронта, о братьях и сёстрах, которых отправили в эвакуацию и не видели уже много месяцев. Мари слушала, обнимала, утешала, находила слова, которые согревали лучше любого одеяла.

Временами она и сама что-то рассказывала — о довоенной жизни, о книгах, которые любила в детстве, о том, как важно верить в добро, даже когда вокруг темно. Дети слушали её с открытыми ртами, и в их глазах загорался тот самый огонёк, ради которого стоило работать.

— Мадам Мари, — сказала однажды маленькая Жанна, та самая девочка с косичками, — а вы самая лучшая учительница на свете.

— Почему ты так думаешь? — улыбнулась Мари.

— Потому что вы нас не ругаете, — ответила Жанна серьёзно. — И потому что вы улыбаетесь. А другие учителя не улыбаются. Им, наверное, грустно.

Мари тогда отвернулась к окну, чтобы дети не увидели её

слёз. Она плакала от счастья — от того, что её заметили, оценили, полюбили. От того, что она снова была там, где должна была быть.

Однажды, когда уроки закончились, Мари собрала свои вещи, попрощалась с коллегами и вышла на улицу.

День был удивительно тёплым для марта. Солнце припекало по-настоящему, и на асфальте там и тут уже виднелись проталины. Пахло оттаявшей землёй, прелыми листьями и чем-то ещё новым, свежим, незнакомым — запахом начинающейся жизни.

Мари шла не спеша и вдруг поняла, что ноги сами несут её не домой, а в другую сторону. В сторону дома культуры.

Она давно не была на репетициях Николя. Всё как-то не получалось — то работа, то домашние дела, то просто усталость. А сегодня… сегодня она хотела увидеть сына. Увидеть, как он играет. Увидеть, какой он там, в своей второй семье, среди музыки и друзей.

Она вошла в дом культуры, поднялась по лестнице, прошла по длинному коридору и тихонько приоткрыла дверь актового зала.

Репетиция как раз заканчивалась.

Люсьен Бернар опустил палочку, оркестр зашумел, задвигался. Кто-то укладывал инструменты, кто-то потягивался, кто-то обменивался шутками. Николя стоял в третьем ряду с опущенной скрипкой, разговаривал о чём-то с Луи.

Мари стояла в дверях, не решаясь войти. Она просто смотрела на сына — на его лёгкую улыбку, на его руки, держащие смычок, на его глаза, которые светились тем самым светом, который она так любила. Он был счастлив здесь. Это было видно по всему его облику.

Николя поднял голову и вдруг замер. Увидел мать. Его лицо озарилось такой радостью, будто он не видел её целый год, а не несколько часов.

— Мама! — крикнул он, ставя скрипку на стул.

Он повернулся к Луи и быстро сказал:

— Сегодня я пойду домой с мамой. Передай остальным.

Луи кивнул и подмигнул, а Николя уже бежал через весь зал, обгоняя расходящихся музыкантов.

— Ты пришла! — выдохнул он, подбегая к матери. — Ты пришла на репетицию!

— Пришла, — улыбнулась Мари, обнимая его. — Ты прекрасно играл. Я слушала из коридора.

— Почему из коридора? Зашла бы в зал!

— Не хотела мешать, — ответила она. — А теперь… теперь я хочу кое-что предложить.

— Что? — спросил Николя, сжимая её руку.

— Пойдём погуляем по городу, — сказала мать, и в глазах её сияло что-то юное, почти девчоночье. — Давно мы не гуляли вдвоём. Только ты и я. Хорошо?

Николя кивнул, не веря своему счастью. Гулять с мамой — просто так, без дела, без спешки — это было то, о чём он мечтал, сам того не осознавая.

Они вышли из дома культуры. Весенний воздух обнял их мягкой прохладой, солнце светило прямо в лица, и снег под ногами уже не скрипел, а хлюпал, превращаясь в воду.

— Ты знаешь, сынок, — сказала Мари, когда они пошли

по знакомой улице, — новая работа… она изменила меня.

— В каком смысле? — спросил Николя.

— Она гораздо легче, чем та, на заводе, — ответила мать. — Не такая изнуряющая. Не надо стоять у плиты по двенадцать часов, не надо дышать чадом и потом. Там я чувствовала, как силы уходят, как я старею с каждым днём.

Она помолчала, собираясь с мыслями.

— А здесь… здесь я будто помолодела, — продолжила она. — Дети дают мне энергию. Их улыбки, их вопросы, их вера в то, что я говорю, — это подпитывает меня. Я прихожу домой уставшая, но это хорошая усталость. Та, которая проходит после сна. А на заводе я не отдыхала даже в выходные.

Николя слушал и радовался. Он видел, как изменилась мать за последние недели — у неё разгладились морщины, глаза заблестели, походка стала легче. Она снова улыбалась — по-настоящему, не через силу.

— Мам, я так рад, — сказал он.

— Я знаю, — ответила она, обнимая его за плечи. — Я тоже рада. За нас всех.

Они гуляли по городу целый день. Зашли в парк, где деревья уже набухали почками, а воробьи купались в лужах, отчаянно чирикая. Посидели на скамейке, глядя, как солнце клонится к закату, раскрашивая небо в розовые и золотистые тона. Зашли в маленькую булочную, купили по кусочку хлеба — не потому, что были голодны, а потому, что хотели сделать этот день особенным, непохожим на другие.

Они болтали обо всём на свете. Николя рассказывал про репетиции, про новые песни, которые разучивал оркестр, про Жерара и его неожиданную доброту, про Луи и его мечту стать моряком. Мать рассказывала про своих учеников, про то, как маленький Пьер, который боялся даже рот открыть на первом уроке, вчера прочитал целое стихотворение перед всем классом. Про то, как девочка Симона научилась писать букву «Р» — и была так горда, что показывала её всем подряд, даже завхозу.

— Знаешь, я поняла одну вещь, — сказала мать, когда они стояли на мосту через Сену и смотрели на тёмную, холодную воду, в которой отражались вечерние огни.

— Какую? — спросил Николя.

— Что счастье — это не когда у тебя много денег или еды,

— ответила она. — Счастье — это когда ты делаешь то, для чего рождён. Я родилась, чтобы учить детей. Ты родился, чтобы играть на скрипке и дарить людям радость. И мы оба сейчас делаем это. По-настоящему. Не за деньги. Не за пайку. А потому что иначе не можем.

Николя посмотрел на мать, на её лицо, освещённое последними лучами заходящего солнца, и подумал, что она — самый мудрый человек на земле.

— Мам, я тебя очень люблю, — сказал он.

— И я тебя, сынок, — ответила она, обнимая его. — Больше всего на свете.

Они стояли на мосту, глядя на Сену, на город, который медленно засыпал, готовясь к завтрашнему дню. Война ещё не кончилась, но сегодня, в эту минуту, они были самыми счастливыми людьми на земле. Потому что были вместе. Потому что любили друг друга. Потому что у них было завтра.

Они пошли домой, когда совсем стемнело. По пути зашли в ещё одну лавку, купили бутылку молока — последние деньги, но это было не важно. Сегодня был особенный день. День, который они запомнят навсегда.

Дома их ждали отец и бабушка Зара. Увидев их счастливые, раскрасневшиеся лица, Клод поднял бровь:

— Вы чего такие весёлые?

— Мы гуляли, — ответил Николя, снимая пальто. — Просто гуляли. По городу.

— И это всё? — удивился отец.

— И это всё, — улыбнулась Мари. — Главное, что мы были вместе.

Она поставила молоко на стол, поцеловала мужа, потом бабушку, потом сына и села ужинать. Простая похлёбка, чёрный хлеб, кружка молока на четверых — но это был самый вкусный ужин в её жизни.

Потому что он был съеден с теми, кого она любила. И потому что завтра будет новый день, новая работа, новые дети, новые улыбки.

Прошло ещё две недели.

Весна наступала всё смелее. Снег сошёл почти полностью, обнажив мокрую, чёрную землю, на которой кое-где

уже пробивалась робкая зелёная травка. Солнце поднималось выше и грело уже по-настоящему, заставляя людей снимать шапки и расстёгивать верхние пуговицы пальто.

Николя почти каждый день заглядывал в почтовый ящик, надеясь увидеть там письмо. Но дни шли, а ответа из Лиона всё не было. Луи успокаивал его:

— Дойдёт. Просто почта медленно работает. Война, сама знаешь.

Николя знал. Но всё равно волновался. Ему казалось, что письмо могло затеряться, упасть с поезда, промокнуть под дождём. Или, что ещё хуже, — Тома не захотел отвечать. Хотя это было совсем на него не похоже.

И вот однажды, возвращаясь с репетиции, Николя машинально заглянул в ящик — и замер.

Внутри лежал конверт.

Серый, потрёпанный, с маркой на уголке и обратным адресом: Лион, та самая улица, тот самый дом. Почерк был торопливым, неровным, с кляксами — но узнаваемым. Тома.

— Папа! Мама! Бабушка! — закричал Николя, вбегая в

комнату, даже не сняв пальто. — Письмо! От Тома!

Отец отложил газету. Мать выглянула из кухни, вытирая руки о фартук. Бабушка Зара подняла голову от своего вечного рукоделья и прищурилась.

— Ну, читай, не томи, — сказал Клод, усмехаясь.

Николя дрожащими пальцами вскрыл конверт, развернул сложенный листок — и вместе с письмом на стол выскользнула небольшая, чуть выцветшая фотография.

Все наклонились, чтобы рассмотреть.

На снимке был Тома. Он стоял на каком-то мосту — широком, каменном, с чугунными перилами. За его спиной виднелась река, широкая и спокойная, и ещё один мост вдалеке. Тома улыбался — не так, как раньше, чуть сдержаннее, но всё той же доброй, открытой улыбкой. Он немного отрос, похудел, но глаза его — серьёзные, внимательные — остались прежними.

— А это Лион? — спросила мать, разглядывая фотографию.

— Наверное, — ответил Николя, не отрывая взгляда от

снимка. — Он писал про мосты. Говорил, что их там много.

— Красивый город, — заметила бабушка Зара. — И мальчик хороший. Похудел только.

Николя положил фотографию на стол и начал читать письмо — вслух, чтобы все слышали.

«Дорогие мои Николя, Луи, Пьер и Марк!

Простите, что долго не писал. Всё как-то не получалось — то учёба, то помощь по дому, то просто не было сил собраться с мыслями. Но сегодня я сел и сказал себе: «Тома, хватит. Твои друзья там ждут. Пиши».

Спасибо за ваше письмо. Я перечитывал его десять раз, наверное. Особенно ту часть, где Николя пишет про учителя музыки, а Луи — про моряка. Вы такие молодцы, что уже знаете, кем хотите стать. Я очень вами горжусь.

Вы спросили, о чём мечтаю я.

Я долго думал. Честно, очень долго. И кажется, понял. Я хочу стать архитектором. Или строителем — кем-то, кто восстанавливает здания после войны.

Понимаете, когда я смотрю на разрушенные дома, на разбитые улицы, на стены с дырами от снарядов, мне хочется всё это починить. Вернуть красоту. Сделать так, чтобы люди снова жили в красивых городах, а не в руинах.

В Лионе много старых зданий. Некоторые из них пострадали, но не так сильно, как в Париже, наверное. Я иногда хожу по городу и представляю: а вот эту стену я бы отремонтировал так, а этот дом — эдак. Родители говорят, что это хорошая профессия, что после войны строители будут очень нужны.

Может быть, когда-нибудь я приеду в Париж и помогу восстанавливать ваш дом культуры. Или тот старый дуб — у него, кажется, тоже есть раны от войны. Я их залечу. Честное слово.

А сейчас я посылаю вам фотографию. Это мост через Сою — самую большую реку в Лионе. Я стою на нём и думаю о вас. Надеюсь, мы скоро встретимся. Говорят, война уже на издохе. Осталось совсем немного.

Кстати, Габриэль передаёт вам привет. Он научился играть на гитаре три аккорда и теперь мучает ими всех соседей. Я говорю ему, что он почти как вы, только хуже. Он обижается, но потом смеётся.

Я очень, очень по вам скучаю. Обнимаю каждого. И даже Жерара — пусть ему тоже передадут.

Ваш Тома».

Николя дочитал и поднял глаза. Мать вытирала слёзы краем фартука. Отец смотрел в окно и улыбался чему-то своему. Бабушка Зара перекрестилась и прошептала что-то по-цыгански.

— Архитектор, — сказал Клод, покачивая головой. — Хорошая профессия. Землю ногами топтать не надо, но дело нужное.

— Он восстановит старый дуб, — тихо сказал Николя, всё ещё глядя на фотографию. — Представляете? Приедет с инструментами, заделает все раны, и дуб снова будет здоровым.

— Это только дерево, — заметила мать.

— Не только, — покачал головой Николя. — Это символ. Наш символ.

Он ещё раз перечитал письмо, потом бережно сложил его вместе с фотографией и убрал в коробку, где уже лежало пер-

вое письмо от Тома и бабушкина монетка на счастье.

— Луи завтра покажу, — сказал он. — И остальным. Они обрадуются.

Вечером, когда все легли спать, Николя долго не мог уснуть. Он лежал, смотрел в потолок и думал об архитекторе. О том, кто восстанавливает города после войны. О том, как однажды Тома придёт к их старому дубу с чертежами и инструментами и сделает его снова красивым.

А может, не только дуб. Может, они все вместе — Николя с музыкой, Луи с морями, Тома с камнями — сделают этот мир лучше. Каждый своим делом. Каждый по-своему.

Он улыбнулся своим мыслям и закрыл глаза. За окном шуршала весенняя капель, а в голове звучала новая мелодия — светлая, чистая, как надежда на встречу.

Спокойной ночи, Тома. Спи спокойно в своём Лионе, на своих мостах, под своим небом. Мы скоро встретимся.

23. День рождения Николя.

Вновь настал день рождения Николя — ему исполнилось четырнадцать. Год пролетел как один миг — столько всего

случилось, столько изменилось, что казалось, будто прошла целая жизнь. Война ещё не кончилась, но конец её уже чувствовался в каждом весеннем дне, в каждой капели, в каждом солнечном луче, который становился всё щедрее и теплее.

Утро началось с поздравлений.

Николя проснулся оттого, что мать поцеловала его в лоб. Он открыл глаза и увидел её улыбающееся лицо — счастливое, без тени вчерашней усталости.

— С днём рождения, сынок, — сказала она. — Четырнадцать лет. Совсем взрослый мужчина.

Она протянула ему небольшой свёрток, перевязанный бечёвкой. Николя развернул его и увидел книгу — сборник стихотворений, потрёпанный, с пожелтевшими страницами, но такой тёплый и живой, будто держал в руках не бумагу, а кусочек чьего-то сердца.

— Это самые добрые и лучшие стихи, — сказала мать, садясь рядом на край кровати. — Я читала их в детстве. Они помогают человеку познать этот мир с доброй стороны. В них нет войны, нет зла. Только любовь, природа, надежда. Я хочу, чтобы ты тоже их прочитал.

Николя пролистал несколько страниц. Стихи были красивыми — про закаты, про птиц, про материнскую любовь. Он закрыл книгу, прижал её к груди и прошептал:

— Спасибо, мама. Я буду беречь её.

Бабушка Зара подошла следом. Она выглядела бодрее, чем обычно, хотя боль во рту ещё не прошла до конца. В руках у неё была аккуратно сложенная рубашка — светлая, с мелкую клетку, из хорошей ткани.

— Это тебе, мой цыганёнок, — сказала она, вручая подарок. — Долго на неё копила. По чуть-чуть откладывала, по монетке. Хотела, чтобы у тебя была красивая вещь. Ты теперь взрослый, тебе нужно хорошо выглядеть.

Николя развернул рубашку. Она пахла крахмалом и ещё чем-то домашним, бабушкиным, тёплым. Он прижал её к щеке, и ему показалось, что он слышит запах прачечной, в которой бабушка работала столько лет.

— Спасибо, бабушка, — сказал он, обнимая её. — Я буду носить её в самые важные дни.

Последним подошёл отец.

Клод был немногословен, как всегда, но в его глазах светилась такая гордость и такая любовь, что Николя почувствовал, как у него защипало в носу.

— Сынок, — сказал отец, кладя тяжёлую руку ему на плечо. — Ты вырос. Ты стал мужчиной, хотя война не дала тебе нормального детства. Но ты не озлобился, не сломался. Ты остался добрым и чутким. Этим ты силён.

Он достал из кармана маленькую коробочку, протянул Николя. Внутри, на кусочке ваты, лежал серебряный крестик на тонкой цепочке — скромный, без излишеств, но такой красивый.

— Человек силён благодаря своей вере, — сказал отец. — Не важно, во что ты веришь — в Бога, в людей, в музыку. Главное, чтобы вера была. Она поможет тебе в трудную минуту. Носи его.

Николя взял крестик, надел цепочку на шею. Металл был прохладным, но быстро согрелся от тела. Ему показалось, что вместе с этим крестиком на него легла какая-то новая, спокойная сила.

— Спасибо, папа, — сказал он, обнимая отца. — Я буду

носить его всегда.

Мать вытерла слёзы, бабушка Зара кивнула одобрительно, а отец, чуть смутившись от собственной торжественности, отошёл к окну.

— Ну что, — сказал он, — пора завтракать. Именинника нужно кормить.

В доме культуры Николя ждал ещё один сюрприз.

Когда он вошёл в актовый зал, оркестр уже сидел на своих местах — но вместо того, чтобы начать репетицию, все вдруг заулыбались и захлопали в ладоши. Люсьен Бернар вышел навстречу с широкой улыбкой.

— С днём рождения, Николя! — сказал дирижёр, пожимая ему руку. — Четырнадцать лет — это серьёзно. Ещё немного, и ты нас перерастёшь.

Он сделал знак, и кто-то из музыкантов вынес из-за кулис поднос с выпечкой — свежие, румяные булочки, которых в прошлом году дали всего одну. Теперь их было целых четыре.

— Оркестр тоже не забывает своих, — сказал Люсьен, ста-

вя поднос на стул. — В этом году нам повезло больше. Угощайся, делись с друзьями.

Николя смотрел на булочки и не верил своим глазам. Четыре штуки — целое богатство. Он чувствовал, как у него перехватывает дыхание от благодарности.

— Спасибо, — сказал он, кланяясь оркестру. — Спасибо вам всем.

— Играй лучше, — буркнул Жерар из-за рояля, но в его голосе не было злости. — Будет ещё повод дарить выпечку.

Все засмеялись, и репетиция началась. Но играли сегодня с особым подъёмом — чувствовалось, что все хотят сделать этот день особенным для Николя. Даже Жерар ни разу не сделал замечания.

После репетиции Николя вышел на крыльцо — и там его ждали друзья.

Луи, Пьер и Марк стояли втроём, пряча что-то за спиной. У всех троих были загадочные, чуть смущённые лица.

— Ну что, именинник, — сказал Луи, выступая вперёд. — Мы тут посовещались и решили, что один подарок от всех

— это лучше, чем три маленьких.

Он вытащил из-за спины небольшую коробочку, обёрнутую в крафтовую бумагу. Протянул Николя.

— Открывай.

Николя развернул бумагу и открыл коробку. Внутри, на бархатной подложке, лежали часы. Не новые, с потёртым ремешком и чуть помутневшим стеклом, но настоящие — с циферблатом, со стрелками, с тихим, ровным тиканьем.

— Это отцовские, — сказал Луи, пряча глаза. — Старые. Он хотел их выбросить, а я попросил. Почистил, настроил. Теперь они работают. Дарю.

Николя смотрел на часы и не верил. Такой подарок он не мог себе даже представить. Часы — это не булочка, не книга, не рубашка. Это почти роскошь.

— Луи, я… — начал он, но Пьер перебил:

— Только один уговор, Николя. По правилу: когда даришь часы, нужно отдать одну монетку. Иначе они стоять будут. Или счастье уйдут. Так говорят.

— Не знаю, правда или нет, — добавил Марк, — но лучше перестраховаться.

Николя улыбнулся, полез в карман и нащупал там одну из монеток — ту самую, не бабушкину, не ту, что подарил Луи, а другую, мелкую, которую заработал сам, когда чистил снег соседям.

— Вот, — сказал он, протягивая монетку Луи. — Спасибо за подарок. И за совет.

Луи взял монетку и спрятал в карман.

— Теперь всё честно, — сказал он. — Часы твои. Носи на здоровье.

Николя надел часы на руку. Ремешок был чуть великоват, но это не имело значения. Часы тикали — ровно, спокойно, как сердце. И казалось, что вместе с ними время теперь будет течь по-другому — не военное, не торопливое, не тяжёлое, а обычное, человеческое.

— Ребята, спасибо вам, — сказал Николя, глядя на друзей. — Вы лучшие. Я вас очень люблю.

— И мы тебя, — ответил Пьер. — А теперь давай булочки

делить. Мы с утра не ели.

Они расселись на крыльце, разломили булочки на всех, и даже маленькие кусочки казались огромным пиршеством. Весеннее солнце грело лица, где-то пели птицы, и в воздухе пахло оттаявшей землёй и надеждой.

Николя сидел на ступеньках, болтал ногами, смотрел на новых друзей, на старые часы на руке, на крестик на груди и чувствовал, как счастье переполняет его. Четырнадцать лет. Ещё год — и он станет совсем взрослым.

Но сегодня он был просто счастливым мальчишкой, у которого есть семья, друзья, музыка и целая жизнь впереди. А что ещё нужно для счастья?

— Ты чего задумался? — спросил Луи, жуя булочку.

— Думаю, что это лучший день рождения в моей жизни, — ответил Николя.

— Точно лучший? — усмехнулся Пьер.

— Точно, — кивнул Николя. — Пока — лучший.

Он посмотрел на часы. Стрелки показывали половину

четвёртого. Было ещё много времени до вечера. Много времени, чтобы быть счастливым. Много времени, чтобы жить.

Николя улыбнулся и откусил свой кусочек булочки. Она была сладкой. Настоящий праздник. Настоящая жизнь. Настоящее счастье.

24. Знакомство с родителями.

Через несколько дней после дня рождения Николя случилось неожиданное. Он уже собирался уходить из дома культуры после репетиции, когда к нему подошёл взволнованный Луи. Друг выглядел непривычно растерянным — мял в руках край куртки, переминался с ноги на ногу и явно не знал, с чего начать.

— Николя, — сказал он наконец, — у меня к тебе странная просьба.

— Какая? — удивился Николя.

— Мои родители… — Луи запнулся, вздохнул. — Они хотят с тобой познакомиться. Официально. Приглашают в гости. Завтра вечером.

Николя опешил.

— Со мной? — переспросил он. — Зачем?

— Они узнали, что мы дружим, — ответил Луи, пожимая плечами. — И ещё они слышали, как ты играешь. Отец сказал… — он поморщился, как от зубной боли, — отец сказал, что «такой талант нельзя оставлять без внимания». Дословно. Я сам не понял, что это значит, но он настроен решительно.

Николя почувствовал, как внутри зашевелилось неприятное беспокойство. Он помнил рассказы Луи о его отце — строгом военном офицере, который не терпел возражений. О матери — красивой, но холодной и высокомерной. Идти в этот дом совсем не хотелось.

Но Луи был его другом. А отказывать другу Николя не умел.

— Хорошо, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. — Я приду.

На следующий день Николя надел новую рубашку — ту самую, которую подарила бабушка Зара. Причесался, вымыл руки, почистил ботинки. Бабушка, увидев его сборы, понимающе кивнула.

— К важным людям идёшь, цыганёнок?

— К родителям Луи, — ответил Николя, поправляя воротник.

— Держись спокойно, — посоветовала бабушка. — Говори правду, смотри в глаза. И не бойся. Ты — мой внук. Ты ничего не боишься.

Он поцеловал её в щёку и вышел.

Дом Луи находился в центральной части города — большой, каменный, с высокими окнами и чугунной оградой. Не то чтобы особняк, но явно дом богатой семьи. Николя постоял у ворот, собираясь с духом, потом нажал на кнопку звонка.

Дверь открыла служанка — пожилая женщина в строгом чёрном платье. Она окинула Николя быстрым, оценивающим взглядом и молча жестом пригласила войти.

Внутри было просторно и холодно — не от температуры, а от какой-то неприступной, официальной атмосферы. Высокие потолки, тяжёлые шторы, блестящий паркет, на стенах — портреты в золочёных рамах. Всё здесь кричало о достат-

ке, но ничто не говорило о доме. О тепле. О жизни.

— Проходите, — сказала служанка, останавливаясь перед дверью в гостиную. — Вас ждут.

Николя переступил порог.

В центре комнаты, у камина, стояли двое. Мужчина и женщина.

Отец Луи оказался именно таким, как описывал друг — высокий, подтянутый, с идеально прямой спиной и сединой на висках. Мундир сидел на нём безупречно, сапоги блестели, а глаза — холодные, серые — смотрели на Николя так, словно перед ними стоял новобранец на смотре. Он не улыбался. Он вообще, казалось, не умел улыбаться.

Мать Луи сидела в кресле, положив ногу на ногу. Красивая женщина с идеальной укладкой и дорогим платьем, но лицо её было таким же застывшим, как у мужа. Она рассматривала Николя с лёгким любопытством, но без всякого тепла — как рассматривают необычную вещь в витрине.

— Так это и есть тот самый юный талант? — спросила она, чуть приподняв бровь.

— Николя, — представился мальчик, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Здравствуйте.

Отец сделал шаг вперёд и протянул руку. Рукопожатие было крепким, сухим, по-военному коротким.

— Меня зовут полковник Дюран, — сказал он. — Мой сын много о вас рассказывал. Мы решили, что должны познакомиться с человеком, который так влияет на нашего Луи.

— Я… я не влияю, — ответил Николя. — Мы просто друзья.

— Друзья, — повторил полковник, и в голосе его прозвучало что-то недоверчивое. — Что ж, садитесь.

Николя сел на край предложенного стула. Прямо, не горбясь, как учила бабушка. Руки положил на колени, сжал их в замок, чтобы не дрожали.

Разговор был тяжёлым.

Полковник расспрашивал о семье Николя — кто родители, где работают, есть ли у них дом. Услышав, что отец работает на заводе, а мать — учительница, он чуть заметно по-

морщился. Узнав, что бабушка — цыганка, он вообще замолчал на несколько секунд.

— Цыганка, — повторил он, как будто пробуя слово на вкус. — И вы учитесь играть на скрипке?

— Я играю в оркестре дома культуры, — ответил Николя, стараясь держаться уверенно. — Учусь у месье Жерара — он пианист. И у дирижёра Люсьена Бернара.

Мать Луи всё это время молчала, только изучающе разглядывала Николя. Потом вдруг спросила:

— А вы не думали, что вашему другу с вами не по пути? Луи должен делать карьеру, а не бегать по дворам с какими-то…

— Мари, — перебил её полковник, но в голосе его не было резкости. Скорее усталость.

Николя почувствовал, как кровь прилила к щекам. Ему хотелось ответить, сказать что-то резкое, защитить Луи, защитить их дружбу. Но он сдержался.

— Луи сам выбирает свой путь, — сказал он спокойно. — И я уважаю любой его выбор.

В комнате повисла неловкая тишина.

Потом полковник поднялся.

— Благодарю, что пришли, — сказал он сухо. — Луи вас проводит.

Николя понял, что аудиенция окончена. Он встал, поклонился — сначала отцу, потом матери — и вышел из гостиной.

Луи ждал его в прихожей. Он стоял, прислонившись к стене, и лицо его было мрачным.

— Прости, — сказал он, когда они вышли на улицу. — Я знал, что так будет. Они не умеют иначе.

Они прошли несколько кварталов в молчании. Только когда дом родителей скрылся из виду, Луи выдохнул — глубоко, с облегчением.

— Ну как? — спросил он. — Очень страшно?

— Не очень, — ответил Николя. — Но ты прав. Они… холодные.

— Холодные — это мягко сказано, — горько усмехнулся Луи. — Отец — как статуя командора. Мать — как фарфоровая кукла. Они не живые. Они… функционируют.

Он остановился, сунул руки в карманы и уставился в землю.

— Знаешь, что сказал отец, когда я вчера заикнулся о море? «Глупости. Ты будешь музыкантом, как я решил. И точка». Даже не спросил, хочу ли я сам. Просто решил. И всё.

Николя слушал. В груди у него поднималась волна сочувствия и гнева — гнева на этих людей, которые не видели в своём сыне живого человека.

— Луи, — сказал он, положив руку на плечо друга. — Ты должен стремиться к своей мечте. Понимаешь? Не важно, что говорят родители. Не важно, что они решили. Твоя жизнь — твоя. И только ты решаешь, кем тебе стать.

— А если они меня выгонят? — тихо спросил Луи. — Если скажут: «Иди куда хочешь, раз ты такой самостоятельный»?

— Значит, пойдёшь, — ответил Николя твёрдо. — Устро-

ишься на работу, снимешь комнату, будешь копить на билет. Ты сильный, Луи. Ты справишься.

Луи поднял голову. В его глазах блестели слёзы — непролитые, упрямые.

— Ты так думаешь?

— Я знаю, — сказал Николя.

Он помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил — мягко, но уверенно:

— И знаешь что ещё? У тебя всё будет хорошо. Ты встретишь хорошую девушку. Или не девушку — это не важно. Главное — человека, который будет тебя понимать. У тебя появится своя семья. Не такая, как у твоих родителей, а настоящая. Тёплая, добрая, живая. С детьми, с шумом, с музыкой. Вы будете сидеть за столом, смеяться, спорить, мириться. И ты будешь счастлив.

Луи смотрел на него, не отрываясь.

— Ты правда в это веришь?

— Правда, — кивнул Николя. — Потому что ты этого за-

служиваешь. Ты — хороший человек, Луи. Самый хороший, которого я знаю. И твоя семья будет самой крепкой и самой любящей. Я в этом уверен.

Луи больше не сдерживался. Слеза скатилась по его щеке, и он быстро вытер её рукавом, делая вид, что просто отряхивается.

— Спасибо, Николя, — сказал он глухо. — Ты единственный, кто говорит мне такие слова. Отец никогда не скажет. Мать — тем более.

— Потому что я твой друг, — ответил Николя. — А друзья нужны для того, чтобы говорить правду.

Они постояли ещё немного в тишине. Весенний ветер трепал их волосы, где-то вдалеке лаяла собака, и солнце медленно клонилось к закату.

— Пойдём, — сказал Луи, первым нарушая молчание. — Провожу тебя до дома. А то твоя мама будет волноваться.

— Луи, — сказал Николя, прежде чем они сделали первый шаг.

— М?

— Ты справишься. Я верю в тебя.

Луи улыбнулся. Грустно, но с какой-то новой, светлой ноткой в этой улыбке.

— Спасибо, — сказал он. — Спасибо, что ты есть.

И они пошли — два мальчика в весеннем городе, два друга, которые держались друг за друга, потому что больше держаться было не за что.

Впереди была война. Впереди было море. Впереди была жизнь.

Но сегодня они были вместе. А это было главное.

25. Кофе.

Весенние дни наполнились яркими красками, словно кто-то взял кисть и прошёлся по городу, добавляя жизни туда, где ещё недавно царили серость и уныние. Деревья покрылись молодой, клейкой листвой, на клумбах там и тут пробивались первые тюльпаны, а воздух стал таким прозрачным и сладким, что кружилась голова. Считанные недели оставались до лета, и это чувствовалось во всём — в долгих свет-

лых вечерах, в пении птиц, которое начиналось затемно и не смолкало до самого заката, в лёгкой одежде прохожих, которые наконец-то сняли тяжёлые пальто и шарфы.

Ребята репетировали как обычно. Оркестр играл слаженно, уверенно, и даже Люсьен Бернар, который редко кого хвалил, однажды сказал:

— Вы стали звучать как настоящий оркестр. Не любительский, не самодеятельный. Настоящий.

Николя ловил себя на мысли, что музыка теперь течёт сквозь него так же естественно, как дыхание. Он не задумывался о пальцах, не считал такты, не боялся ошибиться. Он просто играл. И это было счастьем.

В тот день репетиция затянулась дольше обычного — разучивали новую программу к предстоящему концерту, посвящённому приближающейся Победе. Когда Люсьен наконец опустил палочку, музыканты облегчённо выдохнули и начали собираться.

— Ну что, пошли? — спросил Луи, укладывая кларнет в футляр. — Сегодня Пьер обещал показать новый фокус с картами. Говорит, научился у какого-то старого фокусника на рынке.

Николя уже хотел кивнуть, как вдруг услышал за спиной:

— Николя, подожди.

Он обернулся. Жерар стоял у рояля, сложив на груди свои длинные тонкие руки. В его взгляде не было привычной хмурости — только какая-то новая, спокойная серьёзность.

— Идите, — сказал Николя друзьям. — Я потом догоню.

Луи понимающе кивнул, махнул рукой и вышел вместе с Пьером и Марком.

— Пройдём в чайную комнату, — сказал Жерар и, не дожидаясь ответа, направился к выходу из зала.

Николя пошёл следом.

Чайная комната была пуста. Солнце сквозь чисто вымытые окна заливало её тёплым, золотистым светом, и пылинки танцевали в воздухе, словно маленькие золотые ноты. Жерар сел на стул у стола, достал из кармана небольшой аккуратно сложенный платочек и развернул его.

Внутри оказалось немного кофе.

Николя удивился. Настоящий кофе в военное время был редкостью — его доставали с трудом, берегли для особых случаев, пили по каплям. А Жерар достал целую горсточку — ну, не горсточку, а щепотку, но для Николя и это казалось неслыханной роскошью.

— Садись, — сказал Жерар, жестом указывая на стул напротив.

Николя сел. Старый пианист взял две кружки, насыпал в каждую по щепотке кофе, залил кипятком из термоса, который, оказывается, прихватил с собой, и пододвинул одну кружку мальчику.

— Пей, — сказал он. — Только осторожно. Горячо.

Николя взял кружку в ладони. Аромат — терпкий, горьковатый, незнакомый — заполнил комнату, смешиваясь с весенним светом и тишиной. Он подул на кофе, сделал маленький глоток и поморщился.

— Горько, — сказал он.

— Привыкнешь, — усмехнулся Жерар. — Взрослые вещи часто горькие. Но потом понимаешь, что без них нельзя.

Николя сделал ещё глоток. Вкус был странным — не таким, как он себе представлял, слушая разговоры взрослых о кофе. Но в нём было что-то уютное, согревающее, настоящее.

Жерар долго молчал, глядя в свою кружку. Потом заговорил — не спеша, словно перебирал каждое слово, прежде чем выпустить его на свободу.

— Кофе, Николя, — сказал он, — это не просто напиток. Это философия.

Николя поднял на него глаза.

— Смотри, — продолжал Жерар, поднимая свою кружку. — Вода — обычная, прозрачная, без вкуса. Кофе — маленькие зёрна, твёрдые, горькие, каждое само по себе. Но когда они встречаются, когда вода проходит сквозь эти зёрна, когда огонь их соединяет, рождается что-то новое. Терпкое, крепкое, бодрящее. То, что помогает проснуться. То, что даёт силы.

Он поставил кружку на стол и посмотрел на Николя в упор.

— Сила духа — такая же. Она рождается из испытаний. Из горькой воды и твёрдых зёрен судьбы. Ты не можешь быть крепким, если жизнь была лёгкой. Ты не можешь понимать других, если сам никогда не страдал. Но когда всё это проходит через тебя — ты становишься кофе. Ты становишься тем, кто бодрит других. Тем, кто помогает проснуться.

Николя молчал, переваривая услышанное. Он никогда не думал о кофе так. И о себе — тоже.

— Ты стал таким, Николя, — сказал Жерар тихо. — Ты прошёл через горечь. И теперь ты можешь давать силы другим.

Повисла тишина. Только часы на стене тикали, отмеряя время.

— У меня есть к тебе разговор, — сказал наконец Жерар. — Деловой.

— Слушаю, — ответил Николя, отставляя кружку.

— Возможно, скоро появится маленькая группа детей, — начал пианист, и голос его звучал серьёзно, без обычной ворчливости. — Люсьен хочет организовать при доме культуры музыкальные занятия для самых маленьких. Тех, кто

никогда не держал в руках инструмент. Тех, кто пережил войну и не знает, что такое радость творчества.

Николя слушал, затаив дыхание.

— Я сказал Люсьену, — продолжал Жерар, — что есть у меня на примете один молодой человек. Талантливый, терпеливый, добрый. Который сможет учить детей играть на скрипке. И который сам недавно был ребёнком и помнит, как это страшно — начинать с нуля.

— Вы про меня? — спросил Николя, хотя ответ уже знал.

— Про тебя, — кивнул Жерар. — Я хочу видеть тебя учителем по скрипке для этой группы.

Николя почувствовал, как сердце его подпрыгнуло и забилось где-то у горла. Мечта, о которой он рассказывал маме, о которой думал по ночам, — она приближалась. Становилась реальной.

— Я согласен, — сказал он, не раздумывая ни секунды. — Конечно, согласен!

— Не торопись, — поднял ладонь Жерар. — Ты должен понять, что это значит. Тебе придётся оставаться после ре-

петиций и заниматься с ними. Каждый день, кроме выходных. Ты не сможешь уже столько много времени проводить с друзьями. Луи, Пьер, Марк — они будут уходить, а ты — оставаться. Ты готов к этому?

Николя задумался. Всего на мгновение. Перед глазами встали лица друзей — Луи, который всегда рядом, Пьер с его шутками, Марк, вечно задумчивый и тихий. Вечера на хуторе, разговоры до темноты, футбол на пустыре. Он любил эти часы. Они были его отдушиной.

Но он вспомнил и другое. Свои первые уроки, когда пальцы не слушались, когда струны казались врагами, когда хотелось бросить всё и убежать. И учителя, который терпеливо ждал, пока у него получится. Этого учителя не было — он сам учился, как мог, бился с инструментом, пока не победил.

Другие дети не должны быть такими. У них должен быть кто-то, кто скажет: «Ничего страшного, попробуй ещё раз. У тебя получится».

— Для дружбы не требуется много времени, — сказал Николя твёрдо. — Настоящая дружба не боится расстояний и не считает часов. Мы всё равно будем видеться — на репетициях, по выходным, когда получится. А детям нужен учитель. Прямо сейчас. Пока они ещё помнят, что такое верить

в чудо.

Жерар долго смотрел на него. В его глазах, обычно холодных и колючих, светилось что-то тёплое — почти отцовское.

— Ты вырос, Николя, — сказал он тихо. — Ты стал взрослым раньше, чем я ожидал.

— Это война, — пожал плечами Николя. — Она всех заставляет взрослеть быстрее.

— Не война, — покачал головой Жерар. — Ты. Твоё сердце. Твоя доброта. Война ломает. А ты — ты строишь.

Он поднял свою кружку.

— За тебя, учитель. Чтобы твои ученики играли так же хорошо, как ты.

Николя поднял свою. Кофе почти остыл, стал ещё горче, но пить его было почему-то приятно. Он чувствовал, как тепло разливается по телу — не от напитка, а от слов. От веры, которую вложил в него этот старый, хмурый человек.

— За вас, Жерар, — ответил он. — За то, что вы научили меня не только музыке.

Они чокнулись кружками. Звук получился глухим, незвонким — но для Николя он звучал как музыка. Музыка новой жизни, которая начиналась прямо здесь и сейчас.

За окном заливались птицы, и солнце, опускаясь к закату, окрасило чайную комнату в розовые тона. Николя допил кофе, поставил кружку на стол и улыбнулся. Завтра он расскажет маме. Завтра он расскажет друзьям. Завтра начнётся что-то новое.

А сегодня — сегодня он просто сидел в весенней тишине со старым пианистом, который стал ему почти дедушкой, и чувствовал, как сбывается мечта. По чуть-чуть, по глотку — горькая, терпкая, но такая настоящая. Как кофе, как жизнь, как сама судьба.

Вечером Николя не сдержался.

Он вернулся домой, сел за стол, где уже собралась вся семья — мать вытирала тарелки, отец читал газету, бабушка Зара перебирала крупу, — и выпалил всё, не дожидаясь вопросов:

— Жерар предложил мне стать учителем музыки для детей. Маленькой группы. При доме культуры. Я буду зани-

маться с ними после репетиций, учить их играть на скрипке.

Мать замерла с полотенцем в руках. Бабушка подняла голову. Отец отложил газету.

— Когда? — спросила мать.

— Скоро. Как только наберут группу, — ответил Николя, чувствуя, как щёки его горят от волнения. — Жерар сказал, что я справлюсь. Что я терпеливый и добрый.

Он смотрел на родителей, боясь прочитать в их глазах сомнение. Но мать улыбалась, бабушка кивала, а отец… отец смотрел серьёзно, но в глазах его светилась гордость.

— Это правильно, сынок, — сказал Клод после паузы. — Детям нужны хорошие учителя. Такие, как ты. Всё обязательно получится.

Николя выдохнул. Он и не заметил, как задержал дыхание, ожидая ответа отца.

— Спасибо, папа, — прошептал он.

Отец кивнул, взял газету, но не стал её разворачивать — задумался, глядя куда-то в окно, на вечернее небо, которое

всё ещё хранило отблески заката. Пальцы его, грубые, пропахшие металлом, лежали на столе неподвижно.

— Николя, — сказал он вдруг, — а что ты будешь делать после войны?

Николя удивился вопросу. После войны… он как-то не думал об этом в практическом смысле. Мечтал, представлял, фантазировал — но не планировал.

— Пойду в консерваторию, — ответил он уверенно. — Научусь играть ещё лучше, выучу нотную грамоту, теорию музыки, историю. А потом… потом буду работать учителем. Как мама. Только по музыке.

Отец молчал, рассматривая сына. Потом задал следующий вопрос:

— А не хочешь ли ты попасть в большую группу? Настоящий оркестр, большие концерты, поездки по стране? Там и возможностей больше, и денег. Ты же талантлив, тебя заметят.

Николя задумался. Это был тот самый путь, о котором говорил Луи — карьера, успех, слава. О нём мечтали многие. Но Николя вдруг понял, что эта мечта — не его.

— Нет, папа, — сказал он твёрдо. — Не хочу.

— Почему? — спросил отец, и в голосе его не было осуждения — только искреннее любопытство.

Николя помолчал, собираясь с мыслями. Он вдруг вспомнил тот день, когда играл для раненых солдат у санитарного поезда. Их глаза, благодарные, светящиеся, полные слёз и надежды. Вспомнил маленькую девочку с косичками, которая слушала его игру на концерте с открытым ртом. Вспомнил, как сам впервые взял в руки скрипку — без учителя, без поддержки, просто потому, что хотел играть.

— Я хочу приносить пользу, — сказал он. — Не зарабатывать. Я хочу, чтобы дети, у которых нет ничего, которые потеряли дома, родителей, детство, — чтобы они могли прийти ко мне и научиться играть. Бесплатно. Просто потому, что музыка лечит. Просто потому, что я могу им помочь.

Он посмотрел на отца.

— Деньги — это хорошо, папа. Но когда я вижу, как светятся глаза ребёнка, который впервые извлёк чистую ноту… это дороже любых денег.

В комнате стало очень тихо. Мать вытирала слёзы, даже не скрывая их. Бабушка Зара смотрела на внука с такой любовью, что, казалось, воздух вокруг неё стал теплее.

А отец… отец встал, подошёл к сыну, положил ему на плечо свою тяжёлую руку и сказал:

— Ты правильно выбрал, сынок. Я в тебе не сомневался.

Николя поднял голову и посмотрел отцу в глаза. В них не было ни тени сомнения — только гордость. Спокойная, глубокая, настоящая.

— Я просто хочу делать то, что люблю, — сказал Николя. — И чтобы от этого было хорошо другим.

— Это и есть настоящее призвание, — ответил отец. — Не карьера, не деньги, не слава. А желание быть полезным. Ты это понял раньше, чем я в твои годы. Спасибо тебе за это.

Он обнял сына — крепко, по-мужски, — и, чуть смутившись собственной нежности, вернулся на своё место, взял газету и сделал вид, что читает.

Николя сидел за столом, чувствуя, как тепло разливается по всему телу. Вечернее солнце светило в окно, золотя стены

их маленькой, уютной квартиры. Где-то на кухне тихо напевала бабушка Зара — старую, добрую песню, которую Николя знал с детства.

Он посмотрел на свои руки, которые завтра снова будут играть на скрипке, а потом — через несколько дней, может быть, через неделю — будут держать маленькие, неумелые пальчики его будущих учеников. И улыбнулся.

Всё было правильно. Всё было на своих местах. А война тем временем отступала. Ещё немного — и наступит мир. Мир, в котором он будет учить детей музыке. И это было лучшим, что он мог себе представить.

26. Жди, Николя.

На следующий день после репетиции Жерар подозвал Николя к себе.

— Есть разговор, — сказал он, когда они остались вдвоём в пустом актовом зале.

Николя подошёл, встал напротив пианиста, стараясь угадать по его лицу, хорошие новости или плохие. Жерар сегодня выглядел задумчивым — не хмурым, не недовольным, а именно задумчивым, словно решал что-то важное.

— Группа, о которой мы говорили, — начал он, — появится только в конце лета. Не раньше. Сейчас детей распределяют по другим кружкам, помещение готовят, инвентарь закупают. Так что у тебя есть время.

— Время на что? — спросил Николя.

— Составить пробную схему занятий, — ответил Жерар. — Подумать, с чего ты начнёшь, как будешь объяснять самые первые, самые трудные вещи. Как посадишь ребёнка, как поставишь руку, как научишь держать смычок, чтобы он не боялся. Это не так просто, как кажется.

Николя задумался. Он никогда не составлял никаких схем. Он просто играл — легко, свободно, как дышал. А теперь нужно было придумать, как объяснить это другим.

— Я попробую, — сказал он. — У меня есть несколько идей.

— Запиши их, — посоветовал Жерар. — Возьми тетрадь и запиши. А потом покажешь мне. Я скажу, что годится, а что нет.

Николя кивнул. В голове уже роились мысли: как объяс-

нить ребёнку, что скрипка — не враг, а друг, как не бояться фальшивых нот, как получать удовольствие даже от самых неудачных звуков.

— Спасибо, Жерар, — сказал он.

— Не благодари, — буркнул пианист, отворачиваясь. — Лучше подготовься хорошо. Чтобы потом не было стыдно ни за тебя, ни за меня.

Николя улыбнулся. Он уже привык к этой манере Жерара — прятать доброту за колючими словами. И знал, что на самом деле старый пианист верит в него. Очень верит.

После репетиции друзья собрались под старым дубом.

Место это стало для них священным. Здесь они прощались с Тома, здесь клялись в вечной дружбе, здесь делились самыми сокровенными мыслями. Дуб стоял, покрытый молодой, ярко-зелёной листвой, шумел на ветру и, казалось, слушал их разговоры так же внимательно, как они сами.

Луи прилёг на траву, закинув руки за голову. Пьер сидел, обхватив колени. Марк прислонился к стволу и смотрел в небо, где медленно плыли белые, пушистые облака.

Весна набирала силу. Пахло молодой травой, цветущими деревьями и чем-то ещё — тем особенным запахом свободы, который появляется только тогда, когда заканчивается долгая, холодная зима.

Николя сидел на своём любимом месте, у корней дуба, и вдруг его осенило. Мысль пришла неожиданно, как солнечный луч, прорвавшийся сквозь облака.

— Ребята, — сказал он, — а давайте соберём цветы?

— Цветы? — переспросил Пьер, приподнимая бровь. — Зачем?

— Для наших мам, бабушек, сестёр, — ответил Николя, чувствуя, как его собственная идея согревает его изнутри. — Весна же. Пусть у них тоже будет праздник. Они столько пережили, столько работали, столько боялись за нас. А мы принесём им полевые цветы. Просто так. Потому что любим их.

Луи сел на траве. Его лицо, обычно весёлое или насмешливое, стало серьёзным — даже каким-то взрослым.

— Хорошая мысль, — сказал он тихо. — Моя мать… она, конечно, не оценит. Скажет, что это деревенщина. Но я всё

равно принесу. Ей тоже нужно знать, что её любят. Даже если она не умеет это принимать.

Пьер кивнул.

— Моя мама будет плакать от счастья, — сказал он. — Она любит цветы. А в последний раз ей дарили их… я даже не помню когда. До войны, наверное.

— Моя сестра обрадуется, — добавил Марк, отрываясь от созерцания облаков. — Она всегда просила принести ей одуванчики, когда мы ходили гулять. А я всё забывал. Сегодня не забуду.

Они поднялись и разбрелись по полянке — каждый собирал свой букет. Полевых цветов было много: ромашки, колокольчики, лютики, первые, ещё робкие васильки. Николя выбирал самые яркие, самые нежные. Он знал, что мама любит белые и жёлтые, а бабушка Зара — синие и лиловые.

Они собирали цветы молча, погружённые в свои мысли, но молчание это было тёплым, дружеским, полным понимания. Через полчаса у каждого в руках был небольшой, но красивый букет — разноцветный, пахнущий весной и полем.

— Встретимся завтра? — спросил Пьер.

— Завтра, — кивнул Луи. — На репетиции.

Они разошлись, и Николя пошёл домой, прижимая букет к груди. Цветы пахли горьковато-сладко, и этот запах напоминал ему детство — то, раннее, довоенное, когда мир был большим и добрым, а мама часто ставила в вазу полевые ромашки.

Дома Николя сразу прошёл в комнату, где сидели мать и бабушка.

— Это вам, — сказал он, протягивая букет.

Мать подняла голову от шитья, и её лицо осветилось такой улыбкой, какой Николя не видел, кажется, уже несколько лет. Она взяла цветы, поднесла к лицу, вдохнула их запах и выдохнула — глубоко, со слезами на глазах.

— Сынок… — прошептала она. — Спасибо. Это так неожиданно. Так трогательно.

Она отложила шитьё, встала, обняла Николя и поцеловала в макушку.

Бабушка Зара тоже получила свою долю цветов —

несколько синих колокольчиков, которые она взяла дрожащими руками и прижала к груди.

— Как хорошо-то, — сказала она по-цыгански, растроганно. — Как в молодости. Спасибо тебе, цыганёнок.

Мать поставила цветы в старую керамическую вазу — единственную, которая у них осталась. Ваза была с трещиной, но цветы скрыли её своей красотой. Комната сразу стала светлее, радостнее, будто в ней поселилась сама весна.

Мать села за стол, взяла руки сына в свои и посмотрела на него долгим, умилённым взглядом.

— Николя, — сказала она, — у меня к тебе будет просьба. Большая просьба.

— Какая? — спросил он, чувствуя, что мать говорит о чём-то важном.

— Послезавтра я проведу своим ученикам последнее занятие перед летними каникулами, — сказала она. — Мы договорились, что устроим небольшое представление. Кто-то сыграет маленькую сценку, кто-то расскажет стихи, кто-то споёт песенку. Я тоже приготовила кое-что — хочу прочитать им свои стихи. Я написала их давно, ещё до войны, но

всё не решалась показать кому-то. А теперь… теперь мне кажется, что пришло время.

Николя смотрел на мать, не веря своим ушам. Стихи? Мама никогда не рассказывала ему о своих стихах.

— И я очень хочу, — продолжала мать, — чтобы ты тоже выступил. Сыграл для детей на скрипке. Ты так красиво играешь, сынок. Я хочу, чтобы мои ученики услышали тебя. Чтобы они запомнили этот день надолго. Чтобы музыка осталась в их сердцах.

Николя почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Выступать перед маминими учениками — это была честь. Это было важно.

— Конечно, — сказал он, не раздумывая. — Конечно, я согласен.

— А как же репетиция? — спросила мать, чуть нахмурившись. — Ты сможешь отпроситься у дирижёра?

— Отпрошусь, — твёрдо ответил Николя. — Люсьен меня поймёт. Это же для детей. Он сам всегда говорит, что музыка для детей — это самое важное.

Мать облегчённо выдохнула и снова обняла сына.

— Спасибо тебе, — прошептала она. — Ты делаешь меня счастливой. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту.

Николя сидел в её объятиях, чувствовал запах её духов — дешёвых, военных, но таких маминых — и думал о том, как удивительно устроена жизнь. Ещё недавно они боялись, что не переживут эту зиму. А сегодня — цветы на столе, стихи мамы, его скрипка, детский концерт, мир, который возвращается по кусочкам, как разбитая ваза, которую склеивают заботливые руки.

Он закроет глаза ненадолго. А когда откроет — наступит послезавтра. И он будет играть для маленьких детей, глядя на маму, которая читает свои стихи. И это будет лучшим днём в её жизни. А значит, и в его — тоже.

— Я люблю тебя, мама, — сказал он.

— И я тебя, сынок, — ответила она. — И я тебя.

За окном смеркалось, и первые звёзды зажигались на вечернем небе. А в маленькой квартире, пахнущей цветами и надеждой, было тепло. Тепло, как бывает только дома.

27. Маленькие большие слушатели.

На следующей репетиции Николя всё время искал подходящий момент, чтобы подойти к дирижёру. Люсьен Бернар был сегодня особенно сосредоточен — правил партитуру, делал пометки, переговаривался с концертмейстером. Николя не хотел мешать, но и откладывать разговор было нельзя.

Когда репетиция закончилась, он набрался смелости и подошёл.

— Месье Люсьен, можно вас на минуту?

Дирижёр поднял голову, отложил карандаш и внимательно посмотрел на мальчика.

— Конечно, Николя. Что случилось?

— Понимаете, — начал Николя, чувствуя, как слова сами собой выстраиваются в нужном порядке, — моя мама проводит последнее занятие в школе перед летними каникулами. Они устроили небольшой концерт — дети читают стихи, поют, показывают сценки. И мама очень хочет, чтобы я там сыграл на скрипке. Её ученики меня ещё не слышали, а ей хочется, чтобы музыка осталась у них в памяти.

Люсьен слушал, не перебивая.

— Выступление в тот же день, что и наша репетиция, — продолжил Николя. — Я хотел спросить… можно ли мне отпроситься? Я очень постараюсь догнать потом всё, что пропущу.

Дирижёр молчал несколько секунд, потом улыбнулся — редко, тепло, как улыбаются, когда слышат что-то важное и правильное.

— Конечно, Николя, — сказал он. — Играй. Дети должны слышать хорошую музыку. Тем более такая возможность — выступать перед мамиными учениками. Это особенный день. Я не буду его отнимать.

— Спасибо, — выдохнул Николя, чувствуя, как с плеч свалилась тяжёлая гора. — Я очень благодарен.

Он уже хотел отойти, но Люсьен остановил его жестом.

— Подожди, — сказал дирижёр. — У меня к тебе тоже есть вопрос.

Николя замер.

— Ты уже думал, что будешь делать после войны? — спросил Люсьен. — Не завтра, не через месяц, а когда всё закончится по-настоящему. Когда мы все вернёмся к нормальной жизни.

Николя кивнул. Этот вопрос он слышал уже не раз — от мамы, от отца, от самого себя в долгие бессонные ночи.

— Я хочу закончить консерваторию, — сказал он твёрдо. — Выучиться на скрипача профессионально. А потом… потом я хочу быть учителем. Как моя мама. Учить детей музыке.

Люсьен смотрел на него долгим, внимательным взглядом. Потом протянул руку и положил ему на плечо.

— Это хороший выбор, Николя, — сказал он. — Достойный. Не каждый талантливый музыкант готов отдавать себя другим. Многие хотят славы, денег, признания. А ты хочешь быть полезным. Это дорогого стоит.

— Я просто люблю детей, — смущённо сказал Николя. — И люблю музыку. А когда эти две вещи соединяются, получается что-то очень правильное.

— Что ж, — кивнул Люсьен, — тогда слушай меня. Я по-

могу тебе с поступлением в консерваторию. У меня есть связи, знакомые педагоги. Я напишу рекомендательное письмо, поговорю с нужными людьми. А работать ты сможешь у нас, в доме культуры. Я поговорю с заведующей. Детям нужен такой учитель, как ты.

Николя стоял, не в силах вымолвить ни слова. Он не ожидал такого. Он думал, что всё придётся пробивать самому, с боем, с трудом. А тут — Люсьен сам предлагает помощь. Сам открывает двери.

— Месье Люсьен… я даже не знаю, как благодарить… — начал он.

— Не благодари, — перебил его дирижёр, убирая руку с плеча. — Ты это заслужил. Своим талантом, своим трудом, своим сердцем. Иди, готовься к выступлению. А мы потом обсудим детали.

Николя кивнул, развернулся и почти выбежал из зала. На душе у него было светло, как в весенний день, когда снег уже растаял, а солнце греет так, что хочется снять пальто и бежать босиком по траве.

Он бежал домой, сжимая в руках скрипку, и чувствовал, что мечта становится реальностью. Ещё немного — и она

войдёт в его жизнь. Тихо, уверенно, навсегда.

Долгожданный день наступил быстрее, чем Николя ожидал.

Он проснулся рано — за окном только начинало светать, птицы уже заливались на все голоса, и в воздухе пахло чем-то праздничным, необычным. Он надел свою новую рубашку — ту самую, что подарила бабушка, — причесался, почистил ботинки. Скрипку протёр мягкой тряпочкой, проверил струны, подтянул смычок.

— Волнуешься? — спросила мать, заглядывая в комнату. Она сама выглядела непривычно нарядной — в длинной юбке и белой блузке, с волосами, уложенными в пучок.

— Немного, — признался Николя. — А ты?

— Тоже немного, — улыбнулась она. — Но это хорошее волнение. Такое, которое даёт силы.

Они вышли из дома вместе. Улицы были залиты солнцем, и весенний ветер играл с полами пальто, поднимал лёгкую пыль и гнал по тротуарам бумажные обёртки от конфет. Город просыпался, и в этом пробуждении чувствовалось что-то новое, обнадёживающее.

В школе уже было многолюдно. Кто-то из детей привёл в класс своих родственников — мам, бабушек, маленьких братьев и сестёр, которые сидели на стульях вдоль стен и с любопытством оглядывались по сторонам.

Учительский стол сдвинули в сторону, освободив место для «сцены» — небольшого пространства у доски, где висели детские рисунки: цветы, солнце, смешные человечки с большими ушами.

Мать заняла место в первом ряду, рядом с маленькой Жанной, которая держала в руках листок бумаги и шептала что-то себе под нос — видимо, повторяла стихи.

Николя стоял в углу класса, держа скрипку наготове, и смотрел на детей. Их было человек пятнадцать — разного возраста, разного роста, с разными лицами, но всех их объединяло одно: они смотрели на свою учительницу с такой любовью и доверием, что у Николя перехватывало дыхание. Мама действительно была хорошим педагогом – лучшим.

Выступление началось с маленькой сценки.

Двое мальчиков — Пьер и Анри, оба в клетчатых рубашках и с серьёзными лицами, — разыграли смешную историю

о том, как они искали клад, а нашли старый башмак. Класс хохотал, и даже строгие бабушки улыбались.

Потом девочки читали стихи. Жанна, та самая, с косичками, прочитала стихотворение о весне — с таким выражением, с такой радостью в голосе, что у многих на глаза навернулись слёзы.

Кто-то пел песенку. Кто-то показал танец. Кто-то просто вышел, поклонился и сказал: «Спасибо, мадам Мари, за то, что вы у нас есть». И зал взорвался аплодисментами.

Николя смотрел на маму. Она сидела, прижимая руки к груди, и улыбалась. В её глазах блестели слёзы — не горечи, а счастья. Того самого, ради которого стоило жить, работать, учить.

Всё выступление проходило в очень уютной и прекрасной обстановке. Дети не боялись. Они выходили уверенно, без зажимов, без страха ошибиться. Даже когда кто-то забыл слова, он просто останавливался, улыбался и начинал заново. И никто не смеялся. Никто не осуждал.

Николя понял, что это — заслуга мамы. Она смогла объяснить им главное: ошибаться не страшно. Страшно — бояться пробовать. И дети запомнили это. Они выросли за эти

месяцы не только в знаниях, но и в вере в себя.

— А теперь, — сказала мать, поднимаясь со своего места, — я хочу пригласить на эту маленькую сцену своего сына. Он немного старше вас, он учится играть на скрипке. И сегодня он сыграет для вас. Вы готовы слушать?

— Да! — хором ответили дети.

Николя вышел в центр класса, поднял скрипку, прижал её к плечу. Руки его слегка дрожали — не от страха, а от волнения. Он хотел, чтобы эти дети запомнили сегодняшний день. Хотел, чтобы музыка осталась в их сердцах.

Он закрыл глаза и заиграл.

Не какую-то сложную, виртуозную пьесу. Не концертный номер. Он сыграл ту самую мелодию, которую когда-то играл для раненых солдат у санитарного поезда. Мелодию о надежде. О том, что за самой тёмной ночью всегда наступает рассвет. О том, что всё будет хорошо — непременно, обязательно, назло всем войнам и невзгодам.

Струны пели, и класс замер. Дети смотрели на него, раскрыв рты. Их глаза — десятки удивлённых, радостных, восторженных глаз — были устремлены на него. Он видел, как в

них загорается огонёк. Тот самый, который зажгла когда-то в нём бабушка Зара.

Музыка закончилась. Тишина длилась несколько секунд — а потом класс взорвался аплодисментами. Хлопали дети, хлопали мамы, хлопала бабушка, которая сидела в последнем ряду и вытирала слёзы.

Николя опустил скрипку и поклонился. На душе у него было тепло и светло. Он знал, что сегодня сыграл не зря.

— Браво! — закричал кто-то из детей. — Ещё!

Но мать поднялась и подняла руку.

— Спасибо, — сказала она. — Теперь — моя очередь.

Она вышла в центр класса, встала рядом с Николя, взяла его за руку и посмотрела на детей. В её глазах была такая нежность, что даже стены, казалось, смягчились.

— Я написала эти стихи давно, — начала она. — Ещё до войны. И всё не решалась их прочитать вслух. Но сегодня, глядя на вас, на моих любимых учеников, я поняла — пришло время. Стихи называются «Маленький свет».

Она начала читать.

Голос её звучал негромко, но каждое слово было слышно — потому что в классе стояла полная, абсолютная тишина. Мать читала о детстве, о первой любви, о том, как важно сохранять доброту в сердце, даже когда мир вокруг рушится. Она читала так нежно, так проникновенно, с таким актёрским мастерством, что Николя не узнавал её.

Он видел перед собой не свою маму, уставшую кухарку, которая мыла полы и стояла у плиты. Он видел поэтессу. Видел женщину с большим, чутким сердцем. Видел ту, кем она была на самом деле — до войны, до потерь, до всей этой горечи.

Когда она закончила, в классе было тихо. Потом маленькая Жанна встала, подошла к матери, обняла её и сказала:

— Мадам Мари, это самые красивые стихи, которые я слышала в своей жизни.

И весь класс захлопал — стоя, с криками «браво», со слезами на глазах.

Мать плакала. Не скрываясь. Она плакала и улыбалась, и эти слёзы были самыми светлыми в её жизни.

После выступления детей отпустили не сразу.

Они окружили Николя плотным кольцом, разглядывая его скрипку с таким любопытством, будто перед ними был космический корабль.

— А можно потрогать? — спросила одна девочка, протягивая руку.

— Конечно, — улыбнулся Николя, осторожно передавая инструмент.

— А как она называется? Скрипка? А почему у неё четыре струны? А можно мне на ней сыграть? А как вы научились? А долго учиться? А я смогу?

Вопросы сыпались один за другим. Николя отвечал терпеливо, обстоятельно, стараясь ничего не упустить. Он показывал, как держать смычок, как нажимать на струны, как извлекать звук. Дети слушали, затаив дыхание.

— Вы станете учителем? — спросил один мальчик.

— Стану, — ответил Николя. — Обязательно стану.

— И будете учить таких, как мы?

— Буду.

— А можно мы придём к вам на уроки?

Николя посмотрел на мать. Она стояла в стороне, вытирая слёзы, и улыбалась.

— Можно, — сказал он. — Я буду рад вас видеть.

Дети зашумели, заспорили, кто первый запишется. Кто-то уже тянул руку, обещая принести свою скрипку — старую, поломанную, доставшуюся от тёти. Кто-то спрашивал, можно ли учиться на пианино или на гитаре.

Николя обещал подумать. Обещал узнать. Обещал помочь.

Они вышли из школы, когда солнце уже клонилось к закату.

Николя нёс скрипку за спиной, мать шла рядом, держа его под руку. Оба молчали, но молчание это было красноречивее любых слов.

— Мам, — сказал Николя, когда они повернули на свою улицу.

— Да, сынок?

— Ты сегодня была такая… я даже не знаю, как сказать. Настоящая. Самая настоящая. Я никогда не видел тебя такой.

Мать остановилась, посмотрела на него долгим, тёплым взглядом.

— Это потому что я была собой, — ответила она. — Не кухаркой, не работницей, не уставшей женщиной. А той, кем я родилась. Учительницей и поэтессой.

— Ты должна писать ещё стихи, — сказал Николя.

— Буду, — кивнула она. — Обязательно буду. Теперь буду.

Они пошли дальше, наслаждаясь успехом, теплом и тем особенным чувством, которое бывает только тогда, когда ты сделал что-то важное и правильное. Когда ты был собой. Когда ты подарил миру частицу своей души.

Дома их ждали отец и бабушка Зара. Клод уже накрыл на стол — скромно, по-военному, но с каким-то особенным, праздничным старанием.

— Ну как? — спросил он, глядя на их счастливые лица.

— Замечательно, — ответила мать. — Просто замечательно.

— Ты бы видел маму, папа, — добавил Николя. — Она читала стихи. Её стихи. Все плакали.

Отец посмотрел на жену долгим взглядом, полным любви и уважения.

— Я всегда знал, что ты у меня особенная, — сказал он тихо. — Просто война прятала тебя. Теперь ты снова видна.

Они сели за стол, и ужин прошёл в тёплой, почти праздничной атмосфере. За окном смеркалось, и первые звёзды зажигались на небе — яркие, чистые, обещающие светлое будущее.

Николя смотрел на маму, которая улыбалась, и думал о том, как много они пережили. Как много потеряли. И как много нашли.

28.Серьёзный концерт.

В начале июня, когда лето только начинало радовать теплом, случилось событие, которое взволновало весь оркестр.

Люсьен Бернар пришёл на репетицию с сияющим лицом — настолько непривычным, что музыканты переглянулись и зашептались. Дирижёр поднялся на сцену, хлопнул в ладоши, призывая к тишине, и объявил:

— Коллеги, у нас есть приглашение. Оркестр из города Шартра просит нас выступить на их летнем празднике. Город уже освобождён, люди хотят музыки, хотят праздника, хотят надежды. Мы поедем.

Зал взорвался радостным гулом. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то засвистел, кто-то просто растерянно улыбался, не веря своим ушам. Поездка в другой город — это было событие. За годы войны музыканты почти не покидали Парижа, и даже такая скромная поездка казалась настоящим приключением.

— Поезд завтра утром, — продолжил Люсьен, перекрывая шум. — Едем на товарняке, мест мало, придётся потесниться. Ночуем на старой ферме в пригороде Шартра —

местные жители обещали нас приютить. Концерт — послезавтра, на главной площади. Вопросы есть?

Вопросов не было. Было только предвкушение.

Николя бежал домой, не чуя ног. Он ворвался в комнату, крикнул с порога:

— Мама! Папа! Мы едем в Шартр! С оркестром! Выступать!

Мать выронила полотенце. Отец отложил газету. Бабушка Зара перекрестилась.

— В Шартр? — переспросил Клод. — Это ж далеко. Как доберётесь?

— Поездом, — ответил Николя, переводя дыхание. — Товарняком. Люсьен всё организовал.

Мать подошла к нему, взяла за плечи, посмотрела в глаза.

— Ты будешь осторожен? — спросила она, и в голосе её звучала тревога, смешанная с гордостью.

— Буду, — пообещал Николя. — Честное слово.

Отец встал, подошёл к шкафу, достал старый рюкзак и протянул сыну.

— Собирайся, — сказал он. — Возьми тёплую вещь, ночи ещё прохладные. И хлеб возьми — в дороге пригодится.

Николя собирал рюкзак с такой тщательностью, словно отправлялся в кругосветное путешествие. Скрипка — в футляре, поверх — рубашка, тёплый свитер, краюха хлеба, завернутая в чистую тряпицу, и бабушкина монетка на счастье — в самом маленьком кармашке, ближе к сердцу.

Перед сном мать долго сидела на краю его кровати, гладила по голове и шептала что-то успокаивающее. Николя уже почти заснул, когда услышал:

— Ты у меня молодец, сынок. Играй так, чтобы люди плакали от счастья.

— Постараюсь, — сонно ответил он и провалился в сон, полный предвкушения.

Утро выдалось прохладным, но солнечным.

На вокзале собрались все — Луи, Пьер, Марк, остальные

музыканты, даже Жерар, который сегодня почему-то не хмурился, а смотрел куда-то вдаль, щурясь на солнце. Люсьен пересчитал всех, проверил инструменты, махнул рукой:

— По вагонам!

Товарняк оказался неудобным — деревянные скамьи, щели в стенах, запах сена и мазута. Но никто не жаловался. Музыканты расселись кто где, достали свои инструменты, и вскоре вагон наполнился звуками — кто-то настраивал скрипку, кто-то проверял клапана кларнета, кто-то просто напевал себе под нос.

Поезд шёл медленно, останавливаясь на каждом полустанке. Николя смотрел в щель между досками на проплывающие поля, леса, маленькие деревушки, где люди выходили на перроны и махали им вслед. Мир был большим. Мир просыпался.

Луи сидел рядом, вертел в руках старенький компас — подарок, который он где-то раздобыл специально для этой поездки.

— На север, — сказал он важно, глядя на стрелку. — Мы едем на северо-запад. Шартр где-то там.

— Откуда ты знаешь? — улыбнулся Николя.

— По компасу, — ответил Луи. — И вообще, моряк должен знать направление.

— Ты ещё не моряк, — заметил Пьер из угла.

— Скоро буду, — твёрдо ответил Луи, и никто не стал с ним спорить.

В Шартр приехали к вечеру.

Город встретил их запахом цветущих лип и тишиной — непривычной, мирной тишиной, в которой не слышно было ни сирен, ни взрывов, ни топота патрульных сапог. Люди на улицах улыбались, дети бегали с воздушными шариками, и Николя вдруг остро, до боли в груди, понял, как сильно он соскучился по такой жизни.

— Нас ждут на ферме, — сказал Люсьен, сверяясь с картой. — В пригороде. Идём пешком, недалеко.

Ферма оказалась старой, но ухоженной — добротный деревянный дом с черепичной крышей, окружённый яблоневым садом. Хозяева — пожилые супруги, месье и мадам Дюваль — встретили их с распростёртыми объятиями.

— Проходите, проходите, — приглашала мадам Дюваль, вытирая руки о фартук. — Мы вас ждали. Ужин почти готов, места всем хватит.

— Ночевать будете на сеновале, — добавил месье Дюваль, подмигивая. — Там тепло и мягко. Не хуже, чем в парижских отелях.

Музыканты засмеялись, поблагодарили и разбрелись по двору. Кто-то пошёл помогать с ужином, кто-то устроился на крыльце, кто-то отправился осматривать сад.

А когда стемнело, хозяева разожгли костёр.

Костер горел ровно, бросая на лица сидящих пляшущие тени. Ветви старых яблонь нависали сверху, усыпанные мелкими зелёными плодами, в траве стрекотали кузнечики, и где-то вдалеке ухал филин.

Николя сидел на бревне между Луи и Пьером, прижимая к груди футляр со скрипкой. Рядом устроились Марк и Жерар — старый пианист сегодня выглядел почти молодым, отблески пламени играли на его бледном лице, делая его живым и тёплым.

Люсьен Бернар держал в руках кружку с горячим чаем и рассказывал истории из своей молодости — такие же старые, как этот костёр, но от этого не менее интересные.

— А знаете, — сказал он, глядя на огонь, — когда я был молодым, я тоже путешествовал с оркестром. Объездил пол-Франции. И всегда, когда мы останавливались на ночлег, разжигали костёр. Как сейчас.

— И что вы делали у костра? — спросил Пьер.

— Играли, пели, мечтали, — ответил Люсьен. — Как и вы сейчас.

Он помолчал, потом обвёл взглядом всех, кто сидел вокруг.

— Спойте что-нибудь, — попросил он. — У нас же есть голоса.

Никто не стеснялся. Пьер затянул старую солдатскую песню, Луи подхватил, Марк запел тонким, чистым тенором. Николя достал скрипку и заиграл — тихо, почти шёпотом, чтобы не заглушать голоса, а только подчеркивать их.

Песня лилась над костром, поднималась к звёздному небу

и таяла где-то в вышине. В ней не было войны. В ней не было боли. В ней была только жизнь — простая, человеческая, такая, какой она должна быть.

Кто-то заплакал — незаметно, вытирая слёзы рукавом. Кто-то смеялся, вспоминая что-то своё. А Николя играл и думал о том, что этот вечер останется с ним навсегда. Костер, звёзды, песни, друзья. Всё, что он любил, собралось здесь, в яблоневом саду, за сотни километров от дома.

Жерар, до сих пор молчавший, вдруг заговорил:

— А у меня в молодости тоже был костёр, — сказал он, и голос его звучал непривычно мягко. — Мы с друзьями сидели у реки, жарили картошку на углях, играли на расстроенном пианино, которое кто-то вытащил из воды.

— Из воды? — не поверил Луи.

— Из воды, — кивнул Жерар. — Оно упало в реку во время наводнения. Мы его вытащили, просушили, настроили кое-как. И играли. До утра. Пока пальцы не онемели.

Он замолчал, глядя на огонь.

— Хорошее было время, — сказал он тихо. — Я думал,

оно никогда не кончится.

Николя посмотрел на старого пианиста и вдруг понял: Жерар не просто рассказывает историю. Он прощается. С чем-то. С кем-то. Может быть, с самим собой прежним.

— Месье Жерар, — сказал Николя, — а вы сыграйте нам что-нибудь. На память.

Жерар поднял на него глаза. Помолчал. Потом кивнул, подошёл к старому, расстроенному пианино, которое хозяева вытащили из сарая специально для вечера, и сел за него.

— Хорошо, — сказал он. — Сыграю.

Пальцы его — длинные, бледные, морщинистые — легли на клавиши. И заиграли.

Это была не та музыка, которую Жерар играл в оркестре. Не классика, не джаз, не что-то привычное. Это была какая-то старая, забытая мелодия — грустная, светлая, как этот вечер. Она текла из-под его пальцев, как вода из родника, чистая и живая.

Николя закрыл глаза. Ему казалось, что он слышит не просто музыку — он слышит душу Жерара. Молодую, горя-

чую, полную надежд и мечтаний. Ту самую, которую старый пианист спрятал много лет назад и только сейчас, у этого костра, в этом яблоневом саду, достал на свет.

Когда музыка закончилась, никто не аплодировал. Все молчали, боясь нарушить тишину, которая была важнее любых аплодисментов.

— Спасибо, — прошептал кто-то.

Жерар кивнул, встал и отошёл в тень, чтобы никто не видел его лица.

А костер всё горел. Звёзды всё светили. И ночь была наполнена музыкой — той, которая не забывается.

В начале июня, когда лето только вступало в свои права, случилось событие, которое взволновало весь оркестр.

Люсьен Бернар пришёл на репетицию с сияющим лицом — настолько непривычным, что музыканты переглянулись и зашептались. Дирижёр поднялся на сцену, хлопнул в ладоши, призывая к тишине, и объявил:

— Коллеги, у нас есть приглашение. Оркестр из города Шартра просит нас выступить на их летнем празднике. Город

уже освобождён, люди хотят музыки, хотят праздника, хотят надежды. Мы поедем.

Зал взорвался радостным гулом. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то засвистел, кто-то просто растерянно улыбался, не веря своим ушам. Поездка в другой город — это было событие. За годы войны музыканты почти не покидали Парижа, и даже такая скромная поездка казалась настоящим приключением.

— Поезд завтра утром, — продолжил Люсьен, перекрывая шум. — Едем на товарняке, мест мало, придётся потесниться. Ночуем на старой ферме в пригороде Шартра — местные жители обещали нас приютить. Концерт — послезавтра, на главной площади. Вопросы есть?

Вопросов не было. Было только предвкушение.

Николя бежал домой, не чуя ног. Он ворвался в комнату, крикнул с порога:

— Мама! Папа! Мы едем в Шартр! С оркестром! Выступать!

Мать выронила полотенце. Отец отложил газету. Бабушка Зара перекрестилась.

— В Шартр? — переспросил Клод. — Это ж далеко. Как доберётесь?

— Поездом, — ответил Николя, переводя дыхание. — Товарняком. Люсьен всё организовал.

Мать подошла к нему, взяла за плечи, посмотрела в глаза.

— Ты будешь осторожен? — спросила она, и в голосе её звучала тревога, смешанная с гордостью.

— Буду, — пообещал Николя. — Честное слово.

Отец встал, подошёл к шкафу, достал старый рюкзак и протянул сыну.

— Собирайся, — сказал он. — Возьми тёплую вещь, ночи ещё прохладные. И хлеб возьми — в дороге пригодится.

Николя собирал рюкзак с такой тщательностью, словно отправлялся в кругосветное путешествие. Скрипка — в футляре, поверх — рубашка, тёплый свитер, краюха хлеба, завернутая в чистую тряпицу, и бабушкина монетка на счастье — в самом маленьком кармашке, ближе к сердцу.

Перед сном мать долго сидела на краю его кровати, гладила по голове и шептала что-то успокаивающее. Николя уже почти заснул, когда услышал:

— Ты у меня молодец, сынок. Играй так, чтобы люди плакали от счастья.

— Постараюсь, — сонно ответил он и провалился в сон, полный предвкушения.

На вокзале собрались все — Луи, Пьер, Марк, остальные музыканты, даже Жерар, который сегодня почему-то не хмурился, а смотрел куда-то вдаль, щурясь на солнце. Люсьен пересчитал всех, проверил инструменты, махнул рукой:

— По вагонам!

Товарняк оказался неудобным — деревянные скамьи, щели в стенах, запах сена и мазута. Но никто не жаловался. Музыканты расселись кто где, достали свои инструменты, и вскоре вагон наполнился звуками — кто-то настраивал скрипку, кто-то проверял клапана кларнета, кто-то просто напевал себе под нос.

Поезд шёл медленно, останавливаясь на каждом полустанке. Николя смотрел в щель между досками на проплы-

вающие поля, леса, маленькие деревушки, где люди выходили на перроны и махали им вслед. Мир был большим. Мир просыпался.

Луи сидел рядом, вертел в руках старенький компас — подарок, который он где-то раздобыл специально для этой поездки.

— На север, — сказал он важно, глядя на стрелку. — Мы едем на северо-запад. Шартр где-то там.

— Откуда ты знаешь? — улыбнулся Николя.

— По компасу, — ответил Луи. — И вообще, моряк должен знать направление.

— Ты ещё не моряк, — заметил Пьер из угла.

— Скоро буду, — твёрдо ответил Луи, и никто не стал с ним спорить.

В Шартр приехали к вечеру.

Николя вышел из вагона и замер.

Город лежал в руинах.

Он знал, что Шартр пострадал. Ему рассказывали, говорили, но видеть своими глазами — было совсем другим. Здания, которые он видел на старых открытках, теперь стояли без крыш, без окон, с зияющими провалами вместо стен. Улицы были завалены обломками кирпича, битым стеклом, покорёженным железом. Люди пробирались между разрушенными домами по узким тропинкам, протоптанным в щебне.

Шартр пострадал сильнее Парижа. Намного сильнее.

Николя почувствовал, как у него перехватило дыхание. Ему вдруг стало стыдно за те мгновения, когда он жаловался на жизнь в Париже. Да, их город тоже бомбили. Да, там были разрушения. Но не такие. Не до такой степени.

— Боже мой, — прошептал Луи, стоя рядом. — Что они с ним сделали…

— Война, — коротко ответил Пьер, и в голосе его не было обычной весёлости. Только горечь.

Люсьен Бернар, заметив, как приуныли музыканты, обвёл их суровым взглядом.

— Мы приехали не для того, чтобы жалеть, — сказал он. — Мы приехали играть. Для людей, которые потеряли всё, но не потеряли надежду. Помните об этом.

Он проверил карту и махнул рукой:

— Нас ждут на ферме в пригороде. Идём пешком, недалеко.

Ферма оказалась старой, но ухоженной — добротный деревянный дом с черепичной крышей, окружённый яблоневым садом. Хозяева — пожилые супруги, месье и мадам Дюваль — встретили их с распростёртыми объятиями. Их собственный дом в городе был разрушен, они жили здесь, у родственников, но не жаловались — радовались, что живы.

— Проходите, проходите, — приглашала мадам Дюваль, вытирая руки о фартук. — Мы вас ждали. Ужин почти готов, места всем хватит.

— Ночевать будете на сеновале, — добавил месье Дюваль, подмигивая. — Там тепло и мягко. Не хуже, чем в парижских отелях.

Музыканты засмеялись, поблагодарили и разбрелись по двору. Кто-то пошёл помогать с ужином, кто-то устроился на

крыльце, кто-то отправился осматривать сад.

А когда стемнело, хозяева разожгли костёр.

Костер горел ровно, бросая на лица сидящих пляшущие тени. Ветви старых яблонь нависали сверху, усыпанные мелкими зелёными плодами, в траве стрекотали кузнечики, и где-то вдалеке ухал филин.

Николя сидел на бревне между Луи и Пьером, прижимая к груди футляр со скрипкой. Рядом устроились Марк и Жерар — старый пианист сегодня выглядел почти молодым, отблески пламени играли на его бледном лице, делая его живым и тёплым.

Люсьен Бернар держал в руках кружку с горячим чаем и рассказывал истории из своей молодости — такие же старые, как этот костёр, но от этого не менее интересные.

— А знаете, — сказал он, глядя на огонь, — когда я был молодым, я тоже путешествовал с оркестром. Объездил пол-Франции. И всегда, когда мы останавливались на ночлег, разжигали костёр. Как сейчас.

— И что вы делали у костра? — спросил Пьер.

— Играли, пели, мечтали, — ответил Люсьен. — Как и вы сейчас.

Он помолчал, потом обвёл взглядом всех, кто сидел вокруг.

— Спойте что-нибудь, — попросил он. — У нас же есть голоса.

Никто не стеснялся. Пьер затянул старую солдатскую песню, Луи подхватил, Марк запел тонким, чистым тенором. Николя достал скрипку и заиграл — тихо, почти шёпотом, чтобы не заглушать голоса, а только подчеркивать их.

Песня лилась над костром, поднималась к звёздному небу и таяла где-то в вышине. В ней не было войны. В ней не было боли. В ней была только жизнь — простая, человеческая, такая, какой она должна быть.

Кто-то заплакал — незаметно, вытирая слёзы рукавом. Кто-то смеялся, вспоминая что-то своё. А Николя играл и думал о том, что этот вечер останется с ним навсегда. Костер, звёзды, песни, друзья. Всё, что он любил, собралось здесь, в яблоневом саду, за сотни километров от дома.

Жерар, до сих пор молчавший, вдруг заговорил:

— А у меня в молодости тоже был костёр, — сказал он, и голос его звучал непривычно мягко. — Мы с друзьями сидели у реки, жарили картошку на углях, играли на расстроенном пианино, которое кто-то вытащил из воды.

— Из воды? — не поверил Луи.

— Из воды, — кивнул Жерар. — Оно упало в реку во время наводнения. Мы его вытащили, просушили, настроили кое-как. И играли. До утра. Пока пальцы не онемели.

Он замолчал, глядя на огонь.

— Хорошее было время, — сказал он тихо. — Я думал, оно никогда не кончится.

Николя посмотрел на старого пианиста и вдруг понял: Жерар не просто рассказывает историю. Он прощается. С чем-то. С кем-то. Может быть, с самим собой прежним.

— Месье Жерар, — сказал Николя, — а вы сыграйте нам что-нибудь. На память.

Жерар поднял на него глаза. Помолчал. Потом кивнул, подошёл к старому, расстроенному пианино, которое хозяева

вытащили из сарая специально для вечера, и сел за него.

— Хорошо, — сказал он. — Сыграю.

Пальцы его — длинные, бледные, морщинистые — легли на клавиши. И заиграли.

Это была не та музыка, которую Жерар играл в оркестре. Не классика, не джаз, не что-то привычное. Это была какая-то старая, забытая мелодия — грустная, светлая, как этот вечер. Она текла из-под его пальцев, как вода из родника, чистая и живая.

Николя закрыл глаза. Ему казалось, что он слышит не просто музыку — он слышит душу Жерара. Молодую, горячую, полную надежд и мечтаний. Ту самую, которую старый пианист спрятал много лет назад и только сейчас, у этого костра, в этом яблоневом саду, достал на свет.

Когда музыка закончилась, никто не аплодировал. Все молчали, боясь нарушить тишину, которая была важнее любых аплодисментов.

— Спасибо, — прошептал кто-то.

Жерар кивнул, встал и отошёл в тень, чтобы никто не ви-

дел его лица.

А костер всё горел. Звёзды всё светили. И ночь была наполнена музыкой — той, которая не забывается.

Утро выдалось ясным и прозрачным.

Николя проснулся от того, что где-то за окном заливался петух — громко, требовательно, как будто будил не только ферму, но и весь мир. Сено, на котором он спал, пахло летом и свободой, и он ещё несколько минут лежал с закрытыми глазами, вдыхая этот запах и не веря, что война когда-то могла это отнять.

Рядом возился Луи, пытаясь распутать шнурки на ботинках.

— Ты чего не спишь? — сонно спросил Николя.

— Не могу, — ответил Луи, зевая. — Волнуюсь. Сегодня же концерт.

Николя сел, потянулся и почувствовал, что волнение тоже поселилось где-то в груди — лёгкое, приятное, похожее на то, что бывает перед самым важным выступлением.

Они позавтракали тем, что дали хозяева — тёплым молоком, хлебом с маслом и мёдом. Простые, деревенские продукты казались невероятным лакомством после военного Парижа, и музыканты ели медленно, с наслаждением, стараясь продлить удовольствие.

— Сегодня мы играем для людей, которые потеряли всё, — сказал Люсьен Бернар, обводя взглядом оркестр. — Их дома разрушены, многие из них остались без близких. Но они не потеряли надежду. Играйте сердцем. Играйте так, чтобы они забыли о боли. Хотя бы на час.

Площадь, на которой должен был состояться концерт, чудом уцелела.

Вокруг неё высились руины — обгоревшие стены, груды кирпича, покорёженные балки. Но сама площадь была расчищена, и люди уже собирались с самого утра — несли стулья, скамейки, кто-то даже притащил старый диван, чтобы было удобнее сидеть.

Николя смотрел по сторонам и чувствовал, как сердце сжимается от боли. Шартр пострадал намного сильнее, чем он мог себе представить. Город, который когда-то славился своим собором и древними улицами, теперь напоминал призрак. Только собор — величественный, несмотря ни на что

— всё ещё стоял, свидетель былой красоты и будущего возрождения.

— Он сильно разрушен, — сказал он вслух, обращаясь к Луи.

— Шартр? — переспросил тот, и голос его был тихим. — Говорят, здесь были самые ожесточённые бои. Немцы не хотели отдавать город. Союзники бомбили его несколько недель.

Николя кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он вдруг остро, до боли, понял, как повезло Парижу. Да, их город тоже бомбили. Да, там были разрушения. Но не такие. Не до такой степени.

— Парижу повезло, — сказал он тихо.

— Повезло, — согласился Луи. — А этим людям — нет.

Николя посмотрел на лица тех, кто собирался на площади. Измождённые, бледные, с глубокими тенями под глазами. Но в этих глазах он видел не то, что ожидал. Не отчаяние. Не пустоту. Он видел надежду. Упрямую, живую, несмотря ни на что.

— Они не сдались, — сказал он. — После всего — не сдались.

— Потому что у них есть мы, — ответил Луи. — И музыка. И вера в то, что завтра будет лучше.

Оркестр занял свои места на деревянных подмостках, сооружённых в центре площади. Николя достал скрипку, проверил струны и поднял глаза на публику. Людей было много — сотни, наверное. Дети сидели на плечах у отцов, старики примостились на скамейках, женщины в цветастых платках держали на руках младенцев, которые, казалось, тоже замерли в ожидании музыки.

Люсьен Бернар поднял палочку.

Тишина стала абсолютной.

— Дорогие друзья, — сказал дирижёр, и голос его разнёсся по площади, — сегодня мы играем для вас. Для тех, кто потерял всё, но не потерял себя. Для тех, кто смотрит на эти руины и верит, что город будет восстановлен. Мы играем надежду. Слушайте.

Он взмахнул палочкой — и зазвучала музыка.

Николя играл как никогда. Пальцы его бежали по струнам легко и свободно, смычок пел, и казалось, что скрипка сама ведёт его за собой, подсказывая каждую ноту, каждое дыхание. Он видел перед собой не ноты — он видел лица людей.

Вон та женщина с ребёнком на руках — она закрыла глаза и тихо плачет. Ей, наверное, вспомнилось что-то довоенное, счастливое. Вон тот старик в лохмотьях — он сидит, выпрямив спину, и смотрит на сцену с таким вниманием, будто боится пропустить хоть одну ноту. А вон та девочка с косичками — она прижалась к матери и слушает, затаив дыхание.

Николя играл для них. Для всех.

В какой-то момент он поймал себя на мысли, что не чувствует войны. Не слышит взрывов, не видит разрушенных зданий, не боится завтрашнего дня. Есть только музыка. Есть только этот миг. Есть только он, его скрипка и люди, которые слушают.

Когда оркестр отыграл последнюю ноту, площадь взорвалась аплодисментами.

Люди кричали «браво!», свистели, хлопали так громко, что у Николя заложило уши. Кто-то кидал цветы — единственные, что нашли, полевые ромашки и васильки. Кто-то

плакал и улыбался одновременно.

Николя опустил скрипку и выдохнул.

— Мы сделали это, — прошептал он.

Луи, стоявший рядом, положил руку ему на плечо.

— Мы сделали это, — повторил он.

Вечером, после концерта, оркестр снова собрался у костра.

Хозяева фермы достали домашнее вино для взрослых и яблочный сок для детей, нарезали хлеб, выложили сыр и вяленое мясо. Было шумно, весело, говорили все сразу, перебивая друг друга, вспоминая самые яркие моменты выступления.

— А ты видел, как тот старик плакал? — спросил Пьер, жуя бутерброд.

— Видел, — кивнул Николя. — Он, наверное, вспомнил что-то своё.

— Или кого-то, — добавил Марк задумчиво. — Война

многих разлучила.

Люсьен Бернар поднял кружку.

— За Шартр! — сказал он. — За город, который будет восстановлен. За людей, которые не потеряли веру. И за нас — за то, что мы можем дарить им музыку.

— За музыку! — подхватили все.

Николя пил яблочный сок, смотрел на огонь и думал о том, как много он увидел за эти два дня. Разрушенный, израненный, но живой Шартр. Люди, которые улыбались, несмотря ни на что. Дети, которые смотрели на оркестр с таким восторгом, будто видели музыку в первый раз в жизни.

Он вспомнил слова Жерара о кофе и силе духа. О том, как вода проходит сквозь твёрдые зёрна и рождается новый вкус. Новый смысл. Новая жизнь.

Он сам был таким — мальчиком, который прошёл сквозь горечь войны и теперь мог дарить надежду другим.

— Луи, — позвал он друга.

— М?

— А ты заметил, что люди в Шартре не сдались? Город разрушен, а они — нет.

— Заметил, — ответил Луи, глядя на огонь. — Значит, есть города, которые можно восстановить. Есть люди, которые не теряют веру. Даже когда теряют всё.

Николя кивнул. Это была важная мысль. Важная и правильная.

— Ты когда-нибудь вернёшься сюда? — спросил Луи.

— Обязательно, — ответил Николя. — Я вернусь. И сыграю им ещё один концерт. Лучше, чем сегодня.

— Лучше? — усмехнулся Луи. — Сегодня было прекрасно. Лучше некуда.

— Некуда, — согласился Николя. — Потому что сегодня было первое. А первое всегда особенное.

Они замолчали. Костер догорал, угли светились тёплым, красным светом, и звёзды над головой казались особенно близкими — как будто можно было протянуть руку и дотронуться до них.

Николя достал из кармана бабушкину монетку, сжал в кулаке и загадал желание. Чтобы война кончилась. Чтобы все вернулись домой. Чтобы Шартр восстановили. Чтобы музыка никогда не умолкала.

Он не знал, сбудутся ли эти желания. Но верил — всем сердцем, всей душой, каждой нотой, которую сыграл сегодня. А вера, как известно, творит чудеса.

Поезд обратно шёл быстрее — то ли потому, что состав был легче, то ли потому, что на душе у каждого было светло и радостно, несмотря на увиденные разрушения.

Николя смотрел в окно на проплывающие поля, перелески, деревушки. Он думал о том, что когда-нибудь эти поля заколосятся хлебом, эти перелески наполнятся грибами и ягодами, а в этих деревушках снова зазвучит смех. Он думал о Шартре — о том, что его собор, который чудом уцелел, будет свидетелем возрождения. О том, что люди, которые сегодня слушали их музыку, расскажут своим детям и внукам об этом дне.

Война уходила. А они — оставались.

— Ты чего задумался? — спросил Луи, сидевший напро-

тив.

— Думаю, что мы правильно сделали, что поехали, — ответил Николя. — Мы подарили им надежду. А они — нам.

— Надежду на что?

— На то, что всё можно восстановить, — сказал Николя. — Города, дома, жизни. Главное — не терять веру. А они не потеряли.

Луи помолчал, потом кивнул.

— Знаешь, — сказал он, — когда я стану моряком, я увижу много стран. Но, наверное, я никогда не забуду эти руины. И этих людей. И этот концерт.

— Я тоже не забуду, — ответил Николя. — Никогда.

Они замолчали. Поезд стучал колёсами, приближая их к дому. К маме, папе, бабушке Заре. К Жерару, который, наверное, уже ждёт их в доме культуры, чтобы выслушать рассказы и, скрывая улыбку, буркнуть что-то вроде: «Ну что, цыганёнок, хорошо съездили?».

Николя закрыл глаза и улыбнулся. Хорошо. Всё было пра-

вильно. И будет ещё лучше. Потому что впереди — жизнь. Настоящая, мирная, полная музыки и надежды.

А они были к ней готовы. Все вместе. Семья. Друзья. Оркестр.

29. Летние каникулы.

После концерта в Шартре оркестр отправили на летние каникулы. Люсьен Бернар объявил об этом в последний репетиционный день — и объявил так, словно извинялся.

— В доме культуры будет капитальный ремонт, — сказал он, разводя руками. — Крышу латают, стены штукатурят, полы перестилают. Работы на всё лето. Так что играть пока негде. Отдыхайте, набирайтесь сил. Осенью начнём с новыми силами.

Музыканты зашумели — кто-то огорчился, кто-то обрадовался, кто-то просто пожал плечами. Николя почувствовал, что ему будет не хватать репетиций. Но в то же время лето обещало быть свободным, и это тоже радовало.

— Что будем делать? — спросил Пьер, когда они вышли на крыльцо.

— Работать, — ответил Луи. — Мои родители сказали, что карманных денег летом не будет. Надо самим искать.

— Я слышал, у месье Бернара на ферме нужны помощники, — сказал Марк. — Сенокос. Платят едой и немного деньгами.

— А давайте все пойдём? — предложил Николя. — Вместе веселее.

Ребята переглянулись и закивали. Решение было принято единогласно.

Ферма месье Бернара находилась в часе ходьбы от города — большое хозяйство с просторными полями, старым амбаром и прудом, поросшим кувшинками. Сам Люсьен, хоть и был дирижёром, в свободное время любил возиться с землёй.

— Работы много, — сказал он, встречая ребят на пороге. — Косить придётся вручную, техники у нас нет. Но вы молодые, сильные, справитесь.

Николя взял в руки косу — первый раз в жизни. Инструмент оказался тяжёлым и неудобным, трава не поддавалась, а после первого часа работы у него заломило спину и руки

покрылись мозолями.

— Ты неправильно держишь, — сказал Луи, подходя. — Смотри, как надо.

Он показал — широко, размашисто, с какой-то особенной, крестьянской лёгкостью. Трава падала ровными рядами, и Луи улыбался, блестя глазами.

— Откуда ты умеешь? — удивился Николя.

— В прошлом году помогал соседу, — ответил Луи. — Там и научился. Всё пригодится, как говорил отец. Жаль только, он не это имел в виду.

Они работали с утра до вечера, с перерывом на обед и купание.

Пруд оказался прохладным и чистым. Ребята ныряли с обрывистого берега, брызгались, плавали наперегонки, а потом вылезали на траву и лежали, глядя в небо, пока солнце не начинало припекать.

— А знаете, — сказал однажды Пьер, размазывая по лицу прудную тину, — это лучшие каникулы в моей жизни.

— Потому что мы вместе, — добавил Марк.

— Потому что нет войны, — поправил его Николя. — Пока нет. Но скоро и вовсе не будет.

Они замолчали, потому что говорить об этом было и радостно, и страшно. Радостно — потому что верили. Страшно — потому что боялись сглазить.

Вечера они проводили под старым дубом.

Трава под ним выросла по пояс, и они сидели на ней, поджав ноги, разговаривали, спорили, мечтали. Иногда кто-то приносил мяч, и они играли в футбол — в воротах стоял кто попало, судей не было, и голы забивались самые невероятные.

Николя бегал по полю, чувствуя, как ветер свистит в ушах, и смеялся. Смеялся от радости, от свободы, от того, что он просто жил. Не воевал, не выживал, не боялся. Просто жил.

Луи был лучшим игроком — быстрым, ловким, с точным ударом. Он забивал по три-четыре гола за вечер и никогда не хвастался, только улыбался своей привычной улыбкой.

— Из тебя вышел бы хороший футболист, — сказал ему

однажды Пьер.

— Из меня выйдет хороший моряк, — ответил Луи. — А футбол — это так, для разминки.

Однажды вечером, когда Пьер и Марк ушли домой, а Николя и Луи остались под дубом вдвоём, Луи вдруг заговорил о другом.

Солнце уже село, небо над головой темнело, и первые звёзды зажигались на нём одна за другой. Луи сидел, обхватив колени руками, и смотрел куда-то вдаль, в ту сторону, где за горизонтом было море.

— Николя, — сказал он тихо, — ты можешь мне помочь?

— Конечно, — ответил Николя, не задумываясь. — А с чем?

Луи помолчал, собираясь с мыслями.

— С математикой и географией, — сказал он наконец.

Николя удивился. Он знал, что Луи не был отличником, но чтобы просить помощи — такого ещё не случалось.

— Для чего тебе это надо? — спросил он.

Луи посмотрел ему прямо в глаза. В его взгляде не было привычной весёлости — только серьёзность и что-то ещё, похожее на решимость.

— Для морского дела, — ответил он. — Я узнал, что для поступления в мореходку нужно сдать экзамены по математике и географии. Не абы как, а хорошо. Я хочу начать готовиться сейчас. Чтобы осенью уже попробовать.

Николя смотрел на друга и не узнавал его. Перед ним сидел не тот Луи, который любил шутить и валять дурака. Перед ним сидел человек, который знал, чего хочет, и был готов ради этого работать.

— Ты серьёзно? — спросил Николя.

— Как никогда, — ответил Луи. — Я не хочу больше ждать. Я не хочу быть тем, кем меня хотят видеть родители. Я хочу быть собой. А для этого нужно учиться.

Он замолчал, потом добавил тише:

— И ещё. Ты единственный, кому я могу это сказать. Не смейся.

— А с чего мне смеяться? — удивился Николя. — Я сам хочу быть учителем. Мы оба идём к своей мечте. Просто разными дорогами.

Луи облегчённо выдохнул, словно боялся отказа.

— Так поможешь? — спросил он.

— Помогу, — кивнул Николя. — Начнём завтра. Я принесу мамины учебники. Она хороший педагог, у неё есть всё, что нужно.

Луи протянул руку, и они пожали друг другу ладони — крепко, по-взрослому, как заключают важный договор.

— Спасибо, — сказал Луи. — Ты настоящий друг.

— А ты, — ответил Николя. — Тоже настоящий.

Звёзды над ними горели всё ярче, и старый дуб шумел листвой, словно одобрял их разговор. Где-то вдалеке ухал филин, и тишина была такой глубокой, что казалось — слышно, как растёт трава.

Николя лёг на спину, закинул руки за голову и уставился

в небо.

— Луи, — сказал он, — а ты знаешь, как называются эти звёзды?

— Не знаю, — признался Луи. — Но моряки говорят, что по ним ориентируются. Наверное, выучу, когда придёт время.

— Я уверен, что выучишь, — сказал Николя. — Ты справишься.

Луи ничего не ответил. Только улыбнулся. И эта улыбка была светлее всех звёзд на небе.

Они сидели под дубом до самой темноты, разговаривали, мечтали, строили планы. А потом пошли домой — двумя разными тропинками, но в одном направлении.

К будущему, которое они строили сами.

Каждый день. Каждый час. Каждый миг.

Лето тянулось медленно, как тягучий мёд, наполненное солнцем, работой и редкими мгновениями покоя.

Дни были похожи один на другой: ранний подъём, долгая

дорога на ферму, сенокос до обеда, купание в пруду, снова работа, а вечером — усталые, но счастливые, они расходились по домам. Николя нравилось это лето. Нравилась простая, тяжёлая работа, от которой к вечеру приятно ныли мышцы, нравился смех друзей, нравилось чувствовать себя нужным и полезным.

Но были у него и другие занятия – каждый вечер, после того как Пьер и Марк уходили домой, Николя и Луи оставались вдвоём. Они садились за стол в комнате Николя — мать уступила им кухню, а сама уходила к бабушке Заре, чтобы не мешать, — и начинались занятия.

— Давай ещё раз, — говорил Николя, водя пальцем по строчкам учебника. — Площадь треугольника — это половина произведения основания на высоту. Запомнил?

— Запомнил, — кивал Луи, но глаза его уже слипались.

— Проверим, — неумолимо продолжал Николя. — Вот треугольник. Основание — шесть сантиметров, высота — четыре. Какая площадь?

Луи честно пытался считать, но пальцы его были грубыми, привыкшими к косе и лопате, и цифры путались. Николя терпеливо объяснял снова, и снова, и снова, пока Луи не

щёлкал наконец решение, как орех.

С географией было легче. Луи с детства любил карты, любил смотреть на очертания морей и континентов, запоминал названия городов и рек почти играючи.

— А здесь что за пролив? — спрашивал Николя, показывая на карте.

— Гибралтарский, — быстро отвечал Луи. — Соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном.

— А это?

— Ла-Манш. Тридцать три километра в самом узком месте. На том берегу — Англия.

Николя улыбался. Луи знал географию лучше него самого. Значит, бояться было нечего — подготовка шла как надо.

А по утрам Луи начал бегать. Николя видел его иногда, когда сам шёл на ферму: Луи бежал по обочине дороги, в одних шортах, босиком, размахивая руками и тяжело дыша. Тело его постепенно преображалось — исчезала юношеская худоба, появлялись мышцы, плечи становились шире.

— Ты чего это? — спросил его однажды Пьер.

— Моряк должен быть сильным, — ответил Луи, вытирая пот с лица. — На кораблях некогда болеть и лениться.

Пьер хмыкнул, но спорить не стал. Все уже привыкли к новой, взрослой одержимости Луи.

А сам Луи становился всё более серьёзным. Он по-прежнему шутил и смеялся с друзьями, но в его глазах поселилась какая-то новая, глубокая сосредоточенность — человека, который знает, куда идёт.

30. Путь Луи.

Стоял жаркий июльский вечер. Николя сидел за столом с матерью — они пили чай с травами и листали старый семейный альбом, рассматривая довоенные фотографии. Мать показывала на снимки, рассказывала про родственников, которых Николя никогда не видел, про своего отца, погибшего в первую войну, про то, какой была их квартира до того, как в неё попала бомба.

Николя слушал, смотрел на пожелтевшие лица и думал о том, как быстро летит время. В дверь постучали. Коротко, отрывисто, несколько раз подряд — кто-то торопился и был

очень взволнован.

Мать поднялась, пошла открывать – на пороге стоял Луи.

Николя вскочил со стула. Он никогда не видел друга таким. Луи был бледен, глаза его покраснели, щёки мокры от слёз, и даже плечи, которые он так гордо расправлял последние недели, сейчас были опущены.

— Луи! — воскликнул Николя, подбегая к нему. — Что случилось?

Луи не отвечал. Он стоял, судорожно сглатывая, и пытался справиться с дыханием. Руки его тряслись.

Мать Николя мягко взяла Луи за плечи, ввела в комнату, усадила на стул.

— Посиди, — сказала она спокойно, хотя в глазах её тоже была тревога. — Посиди, отдышись. Я сейчас чаю принесу.

Она вышла на кухню, оставив мальчиков одних.

Николя сел напротив, взял Луи за руку. Ладонь друга была холодной и влажной.

— Луи, — сказал он тихо, но твёрдо. — Говори. Что бы ни случилось, мы вместе. Говори.

Луи поднял на него глаза. В них было столько боли, что у Николя перехватило дыхание.

— Я поступил, — выдохнул Луи. — В морскую школу. Прошёл экзамены. Меня взяли.

Николя почувствовал, как внутри разливается тепло. Это же радость! Это же счастье!

— Луи! — воскликнул он, сжимая руку друга. — Это же замечательно! Ты добился! Ты сам, без помощи родителей, без денег — сам!

Но Луи покачал головой. Слёзы снова потекли по его щекам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.